

Аркадий СТРУГАЦКИЙ
Борис СТРУГАЦКИЙ

ХРОМАЯ СУДЬБА

Авторы считают своим долгом предупредить читателя, что ни один из персонажей этой повести не существует (и никогда не существовал) в действительности.

Поэтому возможные попытки угадать, кто здесь - кто, не имеют никакого смысла. Точно так же являются вымышленными все упомянутые в этой повести учреждения, организации и заведения.

Как пляшет огонек!
Сквозь запертые ставни
Осень рвется в дом.
Райдзан

1

В середине января, примерно в два часа пополудни, я сидел у окна и вместо того, чтобы заниматься сценарием, с отвращением прихлебывал теплый "бжни" и размышлял о нескольких вещах сразу. За окном мело, машины боязливо ползли по шоссе, на обочинах громоздились сугробы, и смутно чернели за пеленой несущегося снега скопления голых деревьев и щетинистые пятна и полосы кустарника на пустыре. Москву заметало.

Москву заметало, как богом забытый полустанок где-нибудь под Актюбинском. Вот уже полчаса посередине шоссе буксовало такси, неосторожно попытавшееся здесь развернуться, и я представил себе, сколько их буксует сейчас по всему огромному городу - такси, автобусов, грузовиков и даже черных блестящих лимузинов на шипованных шинах.

Мысли мои текли в несколько этажей, лениво и вяло перебивая друг друга. Думал я, например, о дворниках. О том, что до войны не было бульдозеров, не было этих звероподобных, ярко раскрашенных снегоочистителей, снегоотбрасывателей, снегозагребателей, а были дворники в фартуках, с метлами, с квадратными фанерными лопатами. В валенках. А снега на улицах, помнится, было не в пример меньше. Может быть, правда стихи были тогда не те...

Еще думал я тогда о том, что в последнее время то и дело случаются со мною какие-то унылые, нелепые, подозрительные даже происшествия, словно тот, кому надлежит ведать моей судьбой, совсем одурел от скуки и принял за кудесить, но только дурак он, куда деваться? - и кудеса у него получаются дурацкие, такого свойства, что ни у кого, даже у самого шутника, никаких чувств не вызывают, кроме неловкости и стыда с поджиманием пальцев в ботинках.

И за всем этим не переставал я думать о том, что вот стоит рядом отодвинутая вправо моя пишущая машинка марки "Tirra" с заедающей от рождения буквой "э", и вставлена в нее незаконченная страница, а на странице читается:

"...башни танков повернуты влево, они бьют из пушек по партизанским позициям, бьют методично, по очереди, чтобы не мешать друг другу пристреливаться. За башней переднего танка сидит на корточках Рудольф, командир танкистов, лейтенант СС. Он - мозг, дирижер этого оркестра смерти, - жестами отдает команды идущим позади эсэсовским автоматчикам. Партизанские пули то и дело щелкают по броне, разбрызгивают грязь вокруг гусениц, вздымают столбики воды в темных лужах".

Отступ.

"Передовой секрет партизан, крошечный окопчик у берега болота. Двое партизан растерянно глядят на приближающиеся танки. Банг! Банг! Банг! - Удары танковых пушек".

Мне пятьдесят шесть лет, но я никогда не был в партизанах, и под

танковую атаку мне попасть тоже не довелось. А ведь, строго говоря, я должен был погибнуть на Курской Дуге. Все наше училище погибло там, остались только: Рафка Резанов - без обеих ног, Вася Кузнецов из пулеметного батальона и я, минометчик.

Нас с Кузнецовым за неделю до выпуска откомандировали в Куйбышев. Видно тот, кому надлежало ведать моей судьбой, был тогда еще полон энтузиазма, и ему хотелось посмотреть, что из меня может получиться. И получилось, что всю свою молодость я провел в армии и всегда считал своей обязанностью писать об армии, об офицерах, о танковых атаках, хотя с годами все чаще мне приходило в голову: именно потому, что жив я остался по совершенной случайности, мне-то как раз и не следовало бы об этом писать.

Вот и об этом я подумал сейчас, глядя в окно на заметаемый Третий Рим, и я взял стакан и сделал лечебно-диетический глоток. Около буксующего такси засело теперь еще две машины, и бродили там, пригибаясь в метели, тоскливые фигуры с лопатами.

Я стал смотреть на полки с книгами.

Боже мой, внезапно подумал я, ощутив холод в сердце, ведь это же, конечно, последняя моя библиотека! Больше библиотек у меня не будет. Поздно. Это моя библиотека - пятая и теперь уже последняя.

От первой осталась у меня только одна книга, ныне сделавшаяся библиографической редкостью: П.В.Макаров. "Адъютант генерала Май-Маевского". По этой книге недавно отснят был телевизионный сериал, картина неплохая и даже хорошая, только вот с самой книгой она почти не соотносится. В книге все куда серьезней и основательней, хотя приключений и подвигов куда как меньше. Этот Павел Васильевич Макаров был, как видно, значительным человеком, и приятно читать на обороте титульного листа дарственную надпись, сделанную химическим карандашом: "Дорогому товарищу А.Сорокину. Пусть эта книга послужит памятью о живой фигуре адъютанта ген. Май-Маевского зам. командира Крымской Повстанческой. С искренним партизанским приветом П.В.Макаров. 6.IX.1927 года, г.Ленинград".

Могу себе представить, как дорожил, наверное, этой книгой отец мой, Александр Александрович Сорокин. Впрочем, ничего этого я не помню. И совершенно не помню, как книга ухитрилась уцелеть, когда дом наш в Ленинграде разбомбило и первая библиотека погибла вся.

От второй же библиотеки ничего не осталось вообще. Я собрал ее в Канске, где два года преподавал на курсах. По обстоятельствам выезд мой из Канска был стремительным и управлялся свыше - решительно и непреклонно. Упаковать книги мы с Кларой тогда успели, и даже успели их отправить малой скоростью в Иркутск, но мы-то с Кларой в Иркутске пробыли всего два дня, а через неделю были уже в Корсакове, а еще через неделю уже плыли на траулщике в Петропавловск, так что вторая библиотека моя так меня и не нашла.

До сих пор жалко, сил нет. Там у меня были четыре томика "Тарзана" на английском, которые я купил во время отпуска в букинистическом, что на Литейном в Ленинграде; "Машина времени" и сборник рассказов Уэллса из приложения ко "Всемирному Следопыту" с иллюстрациями Фитингофа; переплетенный комплект "Вокруг Света" за 1927 год... Я страстно любил тогда чтение такого рода. А было еще во второй моей библиотеке несколько книг с совершенно особой судьбой.

В пятьдесят втором году по Вооруженным Силам вышел приказ списать и уничтожить всю печатную продукцию идеологически вредного содержания. А в книгохранилище наших курсов свалена была трофейная библиотека, принадлежавшая, видимо, какому-то придворному маньчжурского императора Пу И. И конечно же, ни у кого не было ни желания, ни возможности разобраться, где в этой уже проплесневевшей гряде агнцы, а где козлища, и приказано было списать все целиком.

...был разгар лета, и жара стояла, и корчились переплеты в жарких черно-кровавых кучах, и чумазы, как черти в аду, курсанты суетились, и летали над всем расположением невесомые клочья пепла, а по ночам, невзирая на строжайший запрет, мы, офицеры-преподаватели, пробирались к заготовленным назавтра штабелям, хищно бросались, хватали, что попадало под руку, и уносили домой. Мне досталась превосходная "История Японии" на английском языке, "История сыска в эпоху Мэйдзи"... а-а, все равно ни тогда, ни потом не было у меня времени все это толком прочитать.

Третью библиотеку я отдал Поронайскому дому культуры, когда в пятьдесят шестом году возвращался с Камчатки на материк.

И как это я тогда решился подать рапорт об увольнении? Ведь я был никто тогда, ничего решительно не умел, ничему не был обучен для гражданской жизни, с капризной женой и золотушной Катькой на шее... Нет, ничего бы я не рискнул, если бы тогда что-нибудь светило мне в армии. Но ничего не светило мне в армии, а ведь был я тогда молодой, честолюбивый, страшно мне было представить себя на годы и годы вперед все тем же лейтенантом, все тем же переводчиком.

Странно, что я никогда не пишу об этом времени. Это же материал, который интересен любому читателю. С руками бы оторвал это любой читатель, в особенности если писать в такой мужественной современной манере, которую я лично уже давно терпеть не могу, но которая почему-то всем очень нравится. Например:

"На палубе "Коньэй-Мару" было скользко и пахло испорченной рыбой и квашенной редькой. Стекла рубки были разбиты и заклеены бумагой..."

(Тут ценно как можно чаще повторять "были", "был", "было". Стекла были разбиты, морда была перекошена...)

"Валентин, придерживая на груди автомат, пролез в рубку. "Сенте, выходи", - строго сказал он. К нам вылез шкипер. Он был старый, сгорбленный, лицо у него было голое, под подбородком торчал редкий седой волос. На голове у него была косынка с красными иероглифами, на правой стороне синей куртки тоже были иероглифы, только белые. На ногах шкипера были теплые носки с большим пальцем. Шкипер подошел к нам, сложив руки перед грудью и поклонился. "Спроси его, знает ли он, что забрался в наши воды", - приказал майор. Я спросил. Шкипер ответил, что не знает. "Спроси его, знает ли он, что лов в пределах двенадцатимильной зоны запрещен", - приказал майор".

(Это тоже ценно: приказал, приказал, приказал...)

"Я спросил. Шкипер ответил, что знает, и губы его раздвинулись, обнажив редкие желтые зубы. "Скажи ему, что мы арестовываем судно и команду", - приказал майор. Я перевел. Шкипер часто закивал, а может быть, у него затряслась голова. Он снова сложил ладони перед грудью и заговорил быстро и неразборчиво. "Что он говорит?" - спросил майор. Насколько я понял, шкипер просил отпустить шхуну. Он говорил, что они не могут вернуться домой без рыбы, что все они умрут с голода. Он говорил на каком-то диалекте, вместо "ки" говорил "кси", вместо "пу" говорил "ту", понять его было очень трудно..."

Иногда мне кажется, что такое я мог бы писать километрами. Но скорее всего это не так. На километры можно тянуть лишь то, к чему вполне равнодушен.

Через неделю, когда мы расставались, шкипер подарил мне томик Кикутикана и "Человек-тень" - первая японская книга, которую я прочитал от начала до конца. Нравился мне Хираи Таро, недаром он взял такой псевдоним: Эдогава Пампо - Эдгар Аллан По...

А четвертая библиотека осталась у Клары. И господь с ними обеими. Зря, ох, зря заезжаю я сейчас в эту область. Сколько раз давал я зарок даже мысленно не обращаться к тем, кто полагает себя мною униженным и оскорбленными. Я и так вечно кому-то что-то должен, не исполнил обещанного, подвел, разрушил чьи-то планы... И уж не потому ли, что вообразил себя великим писателем, которому все дозволено?

И стоило мне вспомнить об этом моем неизбывном окаянстве, как тут же зазвонил телефон и председатель наш Федор Михеич с легко различимым раздражением в голосе осведомился у меня, когда я, наконец, намерен съездить на Банную.

Что за разгильдяйство, Феликс Александрович, говорил он мне. В четвертый раз я тебе звоню, говорил он, а тебе все как об стенку горох. Ведь не гонят же тебя, бумагомараку, говорил он, на овощехранилище свеклу гнилую перебирать. Ученых, докторов наук гоняют, говорил он, а тебя всего-навсего-то просят, что съездить на Банную, отвезти десять страничек на машинке, которые рук тебе не оторвут. И не для развлечения это делается, говорил он мне, не по чьей-то глупой воле, сам же ты голосовал за то, чтобы помочь ученым, лингвистам этим, кибернетикам-математикам... Не исполнил... Подвел... Разрушил... Вообразил себе...

Что оставалось мне делать? Я снова пообещал, что съезжу, сегодня же

сезжу, и с лязгом и дребезгом гневно-укоризненным швырнули трубку на том конце провода. А я торопливо вылил из бутылки остатки воды в стакан и выпил, чтобы успокоиться, подумав с отчаянной отчетливостью, что не воды этой паршивой надо было бы мне сейчас, а коньяку. Или, еще лучше, пшеничной водки.

Дело же было в том, что еще прошлой осенью наш секретариат решил удовлетворить просьбу некоего института лингвистических, кажется, исследований, чтобы все московские писатели представили в институт этот по несколько страничек своих рукописей на предмет специальных изысканий, что-то там насчет теории информации, языковой какой-то энтропии. Никто у нас этого толком не понял, кроме разве Гарика Аганяна, который, говорят, понял, но втолковать все равно никому из нас не сумел. Поняли мы только, что требуется этому институту как можно больше писателей, а все остальное было неважно: сколько страниц - неважно; какие именно страницы и чего - тоже неважно; требуется только сходить к ним на Банную в любой рабочий день, прием с девяти до пяти. Возражений ни у кого тогда не оказалось, многие, наоборот, были даже польщены возможностью поучаствовать в научно-техническом прогрессе, так что, по слухам, первое время на Банной были даже очереди и даже со скандалами. А потом все как-то сошло на нет, забылось как-то, и теперь вот бедняга Федор Михеевич раз в месяц, а то и чаще, тербит нас, нерадивых, срамит и поносит по телефону и при личных встречах.

Конечно, ничего нет хорошего лежать бревном на пути научно-технического прогресса, а с другой стороны - ну, люди ведь мы, человеки: то я оказываюсь на Банной и вспоминаю же, что надо бы зайти, но нет у меня с собой рукописи; то уже и рукопись, бывало, под мышкой, и направляюсь я именно на Банную, а оказываюсь странным образом каким-то не на Банной, а, наоборот, в клубе. Я объясняю все эти загадочные девиации тем, что невозможно относиться к этой затее, как и ко множеству иных затей нашего секретариата, с необходимой серьезностью. Ну, какая, в самом деле, может быть у нас на Москве-реке языковая энтропия? А главное, причем здесь я?

Однако же податься некуда, и я принялся искать папку, в которую, помнится, сложил черновики на позапрошлой неделе. Нигде на поверхности папки не было, и тут я вспомнил, что тогда намеревался зайти на Банную из "Зарубежного Инвалида", куда отправился с Кап Капычем к Нос Носычу ругаться из-за статьи. Но на обратном пути из "Инвалида" мы на Банную не попали, а попали мы все в ресторан "Псков". Так что искать теперь эту папку мне, пожалуй, смысла не было.

Но, слава богу, недостатка в черновиках я уже давно не испытываю. Кряхтя, я поднялся с кресла, подошел к "стенке", к самой дальней секции, и кряхтя, уселся рядом с нею прямо на пол. Ах, как много движений я могу теперь совершать, только натужно кряхтя, - как движений телесных, так и движений духовных.

(Кряхтя, мы встаем ото сна. Кряхтя, обновляем покровы. Кряхтя, устремляемся мыслью. Кряхтя, мы услышим шаги стихии огня, но будем уже готовы управлять волнами пламени. Кряхтя. "Упанишады", кажется. А может быть, и не совсем "Упанишады". Или не "Упанишады" вовсе.)

Кряхтя, я откинул створку цокольного шкафчика, и на колени мне повалились папки, общие тетради в разноцветных клеенчатых обложках, пожелтевшие, густо исписанные листочки, скрепленные ржавыми скрепками. Я взял первую попавшуюся папку - с обломанными от ветхости углами, с одной только грязной тесемкой, с многочисленными полустертыми надписями на обложке, из которых разобрать можно было лишь какой-то старинный телефон, шестизначный, с буквой, да еще строчку иероглифов зелеными чернилами: "Сэйэнз дзидайно саку" - "Творения юношеских лет". В эту папку я не заглядывал лет пятнадцать. Здесь все было очень старое, времен Камчатки и даже раньше, времен Канска, Казани - выдирки из тетрадей в линейку, самодельные тетради, сшитые суровой ниткой, отдельные листки шершавой желтоватой бумаги, то ли оберточной, то ли просто дряхлой до невозможности, и все исписано от руки, ни единой строчки, ни единой буквы на машинке.

"Угрюмый негр вывез из кабинета кресло с человеческой развалиной. Шеф плотно закрыл за ним дверь..."

Какой негр? Что за развалина? Ничего не помню.

"Кстати, вы не заметили, были ли среди большевиков китайцы? - Спросил вдруг шеф.

- Китайцы? М-м-м... Кажется, были. Китайцы или корейцы, или монголы. В общем, желтые..."

Да-да-да-да! Вспоминаю! Это был у меня такой политический памфлет... Нет. Ничего не помню.

"Крепость пала, но гарнизон победил".

Так.

"Видю тя! Видю тя!" - Взревели кроличьи яйца, обнаружив видимого противника... И новый выстрел из тьмы наверху..."

А-а-а, это же из Киплинга... "Сталки и компания". Тысяча девятьсот пятьдесят третий год. Камчатка. Я сижу себе и читаю Киплинга, потому что за отсутствием видимого противника делать мне больше нечего.

"Кроличьи яйца" - "Rabbit's eggs". И нечего тут скалить зубы, ребята. Если бы Киплинг имел в виду то же, что и вы, он бы написал "Rabbit's walls". Да, помучился я, помнится, с этим переводом, но школа для меня получилась отменная, нет лучше школы для переводчика, нежели талантливое произведение, описывающее совершенно незнакомый мир, конкретно локализованный в пространстве и времени...

А вот и "Случай в карауле". Тоже пятьдесят третий год и тоже Камчатка.

"Позже Беркутов, часовой у входа в караульное помещение, никак не мог вспомнить, что впервые заставило его насторожиться и крепче сжать оружие, напряженно вслушиваясь в непонятные шорохи теплой июльской ночи. Просто к шелесту листвы, шуму собственных шагов, сонному скрипу ветвей примешалось..." Ну, и так далее. Коротко говоря, под покровом ночи подкрались к часовому, напали на него, и он, не в силах отбиться, вызвал огонь на себя.

Был я тогда по литературным воззрениям моим великим моралистом, причем не просто моралистом, но вдохновенным певцом воинского регламента. А потому, товарищи солдаты, главным в данном конкретном "Случае в карауле" было вот что:

"Как могло случиться, что Линько, так хорошо знавший уставы, допустил грубейшее нарушение устава гарнизонной и караульной служб? А ты, Беркутов? Разве ты не оказался ротозеем, не заметив, куда ушел Симаков? И мы все - как мы не заметили, что Симакова не оказалось с нами, когда караул был поднят в ружье?"

Странно все это перечитывать сегодня! Но до чего же хотелось увидеть свое имя напечатанным, почувствовать себя писателем, выставить напоказ клеймо любимца муз и Аполлона! И какое это было горькое разочарование, когда "Суворовский натиск", дай ему здоровья, завернул мне мою рукопись под вежливым предлогом, что "Случай в карауле" не является типичным для нашей армии! Святые слова. За свою жизнь я простоял на караулах часов двести, и только однажды к шелесту листвы, шуму собственных шагов и в особенности к сонному скрипу ветвей примешались посторонние звуки, а именно: в кромешной тьме кто-то напористо и страшно пер через ограждение из колючей проволоки, никак не реагируя на мои отчаянные вопли: "Стой! Стой, кто идет? Стой, стрелять буду!". Подоспевшее на выстрелы караульное начальство обнаружило запутавшегося в колючей проволоке убитого напавал козла. Сгоряча мне обещана была гауптвахта, но потом все обошлось...

Нет, не отдам я им мой "Случай в карауле" на препарирование. Пусть лежит. И снова подумал я, какая это все-таки дурацкая затея с языковой энтропией, если им все равно, что анализировать: "Случай в карауле" или про кресло с человеческой развалиной.

Я отложил "творения юношеских лет" в сторону и взял другую папку, уже вполне современного вида, с хорошо сохранившимся, тщательно завязанными красными тесемками. На обложку наклеен был белый ярлык, а на ярлыке значилось: "отрывки, неопубликованное, сюжеты, планы".

Я раскрыл папку и сразу же наткнулся на рассказ "Нарцисс", написанный в пятьдесят седьмом году. Этот рассказ я помню очень хорошо. Действующие лица там такие: доктор Лобс, Шуа Дю-Гюрзель, граф Денкер, баронесса Люст... Упоминаются: Карт Эс-Шануа, "полновесный идиот, ставший импотентом в шестнадцать лет", а также Стелла Буа-Косю, родная тетка графа Денкера, садистка и лесбиянка. А соль этого рассказа в том, что упомянутый Шуа Дю-Гюрзель, аристократ и гипнотизер необычайной силы, налетел на свое

отражение в зеркале, когда "взгляд его был полон желания, мольбы, властного и нежного повеления, призыва к покорности и любви".

Ай-яй-яй-яй-яй, какое манерное, похабное, салонное, махровое пшено! И подумать только, ведь проросло оно из того же кусочка души моей, что и мои "Современные сказки" полтора десятка лет спустя, из того же самого кусочка души, из которого растет сейчас моя синяя папка...

Нет, не отдам я им моего "Нарцисса". Во-первых, потому что всего один экземпляр. А во-вторых, совершенно никому не нужно знать, что Сорокин Феликс Александрович, автор романа "Товарищи офицеры!" и пьесы "Равнение на середину!", не говоря уже о сценариях и армейских очерках, пишет еще, оказывается, всякие фантазмагии.

А дам я им во что. Пятьдесят восьмой год. "Корягины". Пьеса в трех действиях. Действующие лица: Сергей Иванович Корягин, ученый, около шестидесяти лет; Ирина Петровна, его жена, сорок пять лет; Николай Сергеевич Корягин, его сын от первого брака, демобилизованный офицер, около тридцати лет, и еще семь действующих лиц - студенты, художники, слушатели военной академии. Действие происходит в Москве, в наши дни.

Аня: Слушай, можно задать тебе один вопрос?

Николай: Попробуй.

Аня: А ты не обидишься?

Николай: Смотря... Нет, не обижусь. Насчет жены?

Аня: Да. Почему ты с ней развелся?

Очень хорошо. Антон Павлович, Константин Сергеевич. Владимир Иванович. Главное не закончено и никогда закончено не будет. Вот это мы им и отдадим.

Отложив за спину рукопись, я принялся запихивать и уминать в шкафчик все остальное, и тут в руку мне попала общая тетрадь в липком коричневом переплете, разбухшая от торчавших из нее посторонних листков. Я даже засмеялся от радости и сказал ей: "Вот где ты, голубушка!", потому что это была тетрадь заветная, драгоценная, потому что это был мой рабочий дневник, который я потерял в прошлом году, когда в последний раз наводил порядок в своих бумагах.

Тетрадь сама открылась в моих руках, и обнаружился в ней мой заветный канцелярский карандаш из Чехословакии, карандаш не простой, а счастливый; все сюжеты надлежало записывать только этим карандашом, и никаким иным, хотя, признаться, он был довольно не удобен, потому что корпус у него лопнул в двух местах, и грифель при неосторожном движении проваливался внутрь.

Я уже, оказывается, и забыл совсем, что началась эта тетрадка тридцатого марта, почти ровно одиннадцать лет назад. Я писал тогда повесть "Железная семья" - о современных, мирных, так сказать, танкистах. Писалась она трудно, кровью и сукровицей она писалась, эта повесть. Помнится, я несколько раз выезжал в части по командировкам, правое ухо отморозил, и все равно толку никакого не получилось. Повесть отклонили. Спасибо, хоть аванс не отобрали.

Я листал страницы с однообразными записями:

2.04. сдел. 5 стр. вечером 2 стр. всего 135 стр.

3.04. сдел. 4 стр. вечер. 1 стр. всего 140...

Это у меня верный признак: если никаких записей, кроме статистических, не ведется, значит, работа идет либо очень хорошо, либо на пропась. Впрочем, 7.04 странная запись: "Писал жалобу в правительствующий Сенат". А 3.05: "ничто так не взрослит, как предательство".

А вот и этот день, когда начал я придумывать современные сказки.

21 мая 72 года. "История про новосела-рабочего. У него работают циклевщик, грузчик, водопроводчик, все кандидаты наук. И все застревают в квартире. Циклевщик зажег палец в паркете, грузчика задвинули шкафом, водопроводчик хлебнул вместо спирта эликсиру и стал невидимым. И еще домовый. И строитель, замурованный в вентиляционной шахте. И приходит Катя".

Это еще не "Современные сказки", до "Современных сказок" было тогда еще далеко. Справиться мне с этим сюжетом так и не удалось, и сейчас я даже не помню: какой новосел? Почему домовый? Что за эликсир?

Или вот еще сюжет того времени.

28.10.72. "Человек (фокусник), которого все принимали за пришельца из космоса". В те поры все вокруг словно словно бы с ума сошли по поводу летающих тарелок. Только об этом и разговоров: братья по разуму,

баальбекская веранда, тассильские рисунки. И вот тогда мне придумалось: живет себе человек, ни о чем таком не думает, по профессии фокусник, причем фокусник очень хороший. И замечает он вдруг некоторое беспокоящее к себе внимание. Соседи по лестничной площадке странно с ним заговаривают, участковый заходит, интересуется реквизитом и туманно рассуждает насчет закона сохранения энергии. "Это исчезающее яйцо, - говорит он, - не согласуется у вас, гражданин, с современными представлениями о законах сохранения". Наконец, вызывают его в отдел кадров, а там у кадровика сидит какой-то гражданин, вроде бы даже знакомый, но с одним глазом. И кадровик принимается моего героя расспрашивать, сколько церквей в его родном Забубенске, да кому там памятник стоит на главной площади, да не помнит ли он, сколько на фасаде горсовета окон. А герой, разумеется, ничего этого не помнит, и атмосфера подозрительности все сгущается, и вот уже заводятся вокруг него разговоры о принудительном медосмотре... Чем должна была кончиться вся эта история, я придумать так и не сумел: охладел. И теперь очень жалко мне, что охладел.

Второго ноября записано: "не работал, страдаю брюхом", а третьего - короткая запись: "вполсвиста".

С теплой грустью листал я свой рабочий дневник страницу за страницей.

"Человек - это душонка, обремененная трупом. Эпиктет".

"Против кого дружите?"

"Ректальная литература".

"Только те науки распространяют свет, кои способствуют выполнению начальственных предписаний. Салтыков-Щедрин".

"Гнал спирт из ногтей алкоголика".

А это опять для современных сказок:

"Кот Элегант. Пес по фамилии Верный, он же Верка. Мальчик-вундеркинд, почитывает "Кубические формы" Ю.Манина, очкарик; когда моет посуду, любит петь Высоцкого. Двенадцать лет в восьмеричной системе исчисления. Цитирует труды Иллича-Свитыча. Кот по утрам, вернувшись со спевки, стирает перчатки. Пса учат за едой не сопеть, не чавкать и пользоваться ножом и вилкой. Он демонстративно уходит из-за стола и шумно, с обидой, грызет кость под крыльцом. Кот Элегант о каком-то госте: "Этот Петровский-Зеликович совершенно похож на бульдога Рамзеса, которому я нынешней весной в кровь изодрал морду за хамское приставание".

Еще фразы:

"Путал сентименталов с симменталами".

"Мария Павловна за Островским шубу шестнадцать лет носила, я у нее перекупила, стала чистить - три воши нашла, одна старая, еще по-аглицки говорит..."

Я запихал оставшиеся папки и бумаги в шкафчик и перебрался за стол. Это находит на меня иногда: беру старые свои рукописи или старые дневники, и начинает мне казаться, что вот это все и есть моя настоящая жизнь - исчерканные листочки, чертежи какие-то, на которых я изображал, кто где стоит и куда смотрит, обрывки фраз, заявки на сценарии, черновики писем в инстанции, детальнейше разработанные планы произведений, которые никогда не будут созданы, и однообразно сухие: "сделано 5 стр. вечер. сдел. 3 стр." А жены, дети, комиссии, семинары, командировки, осетринка по-московски, друзья-трепачи и друзья-молчуны - все это сон, фата-моргана, мираж в сухой пустыне, то ли было это у меня, то ли нет.

И вот сюжет хороший. Точной даты почему-то нет, начало семьдесят третьего года.

...Курортный городишко в горах. И недалеко от города пещера. И в ней - кап-кап-кап - падает в каменное углубление живая вода. За год набирается всего одна пробирка. Только пять человек в мире знают об этом. Пока они пьют эту воду (по наперстку в год), они бессмертны. Но случайно узнает об этом шестой. А живой воды хватает только на пятерых. А шестой этот - брат пятого и школьный друг четвертого. А третий, женщина Катя, жарко влюблена в четвертого и ненавидит за подлость второго. Клубочек. А шестой, вдобавок, великий альтруист и ни себя не считает достойным бессмертия, ни остальных пятерых...

Помнится, я не написал эту повесть потому, что запутался. Слишком сложной получилась система отношений, она перестала помещаться у меня в воображении. А получиться могло бы очень остро: и слежка за шестым, и угрозы, и покушения, и все на этакой философско-психологической закуске,

и превращался в конце мой альтруист-пацифист в такого лютого зверя, что любо-дорого смотреть, и ведь все от принципов своих, все от возвышенных своих намерений.

В ту минуту, когда я читал наброски по этому сюжету, раздался в передней звонок. Я даже вздрогнул, но тут же мною овладело радостное предчувствие. Теряя и подхватывая на ходу тапочки, я устремился в переднюю и открыл дверь. Так и есть, явилась она, волшебница моя добрая, долгожданная, румяная с метели, запорошенная снегом. Клавочка. Вошла, блестя зубками, поздоровалась и прямо направилась на кухню, а я уже бежал, теряя тапочки, за паспортом, и получилось мне сто девяносто шесть рублей прописью и одиннадцать копеек цифрами из литконсультации за рецензии на бездарный ихний самотек. Как всегда, вернул я Клавочке рубль, как всегда, она сперва отказывалась, а потом, как всегда, приняла с благодарностью, и, как всегда, провожая ее, я сказал ей: "Приходите, Клавочка, почаще", а она ответила: "А вы пишите побольше".

Кроме денег, оставила Клавочка на кухонном столе длинный, пестрый от наклеек и марок, с красно-бело-синим бордюром авиапочты конверт. Писали из Японии. "Господину Феликсу Александровичу Сорокину". Я взял ножницы, срезал край конверта и извлек два листка тонкой рисовой бумаги. Писал мне некто Рю Таками, и писал по-русски.

"Токио, 25 декабря 1981 года. Многоуважаемый господин Ф.А.Сорокин! Если вы помните меня, мы познакомились весной 1975 года в Москве. Я был в японской делегации писателей, вы сидели рядом и любезно подарили мне вашу книгу "Современные сказки". Книга очень мне понравилась сразу. Я неоднократно обращал в наше издательство "Хаякава" и журнал "Эс-Эф Магазин", но наши издатели консервативны. Однако теперь благодаря тому, что ваша книга пользуется успехом в США, наконец наше издательство стали обращать внимание на вашу книгу и по-видимому иметь намерение издать вашу книгу. Это значит, что наша издательская культура находится под сильным влиянием американской и это - наша действительность. А как бы ни то было, то новое направление в нашем издательском мире так радостно и для вас, и для меня. По плану моей работы я кончаю перевод вашей книги в феврале будущего года. Но к сожалению я не понимаю некоторых слов и выражений (вы найдете их в приложении). Я хотел бы просить вас помочь. В началах каждой сказки процитированы фразы из произведения разных писателей. Если ничто вам не помешает, прошу вас сообщить мне, в каких названиях и в каких местах в них я смогу найти их. Я хочу познакомить вас и вашу литературную деятельность с нашими читателями как можно подробнее, но к сожалению у меня теперь совсем нет последних новостей о них. Я был бы очень рад, если вы сообщили мне теперешнее положение вашей работы и жизни и послали ваши фотографии. И я желаю читать статьи и критики о вашей литературе и узнать, где (в каких журналах, газетах и книгах) я смогу найти их. Мне хотелось бы просить вас оказать мне многие помощи, которые я просил выше. Заранее благодарю вас за помощь. С искренним уважением (подпись иероглифами)".

Я прочитал это письмо дважды и через некоторое время поймал себя на том, что благосклонно улыбаюсь, подкручивая себе усы обеими руками. Честно говоря, я совершенно не помнил этого японца и тем не менее испытывал к нему сейчас чувство живейшей симпатии и даже, пожалуй, благодарности. Вот и до Японии добрались мои сказки. Так сказать, Боку-но, отогиба-наси-ва ниппон-маде-мо ятто итада-кимасьта...

Разнообразные чувства обуревали меня - вплоть до восхищения самим собою. И в волнах этих чувств я без труда различал ледяную струю жестокого злорадства. Я снова вспоминал иронические улыбочки и недоуменные риторические вопросы в критических обзорах, и пьяные подначки, и грубовато-дружественные: "Ты что же это, старик, а? Совсем уже, а?". Теперь это, конечно, дела прошлые, но я, оказывается, ничего не забыл. И никого не забыл. А еще тут же вспомнилось мне, что когда выступаю я в домах культуры или на предприятиях, так если меня в зале кто-нибудь и знает, то не как автора "Товарищей офицеров" и уж, конечно, не как автора многочисленных моих армейских очерков, а именно как сочинителя "Современных сказок". И неоднократно мне даже присылали записки: "Не родственник ли вы Сорокина, написавшего "Современные сказки"?"

Я вспомнил о втором листке из конверта и, развернув, бегло его проглядел. Сначала недоумения Рю Таками позабавили меня, но не прошло и несколько минут, как я понял, что ничего особенно забавного мне не

предстоит.

А предстоит мне объяснить, да еще в письменном виде, да еще японцу, что означают такие, например, выражения: "хватить шилом патоки", "цвести как майская роза", "иметь попсовый вид", "полные штаны удовольствия", "начистить ряшку", и "залить zenki"... Но все это было еще полбеды, и не так уж, в конце концов, трудно было объяснить японцу, что "банан" на жаргоне школьников означает "двойку как отметку, в скобках, оценку", а "забойный" означает всего-навсего "сногшибательный" в смысле "великолепный". А вот как быть с выражением "фиг тебе"? Во-первых, фигу, она же дуля, она же кукиш, надлежало самым решительным образом отмежевать от плодов фигового дерева, дабы не подумал Таками, что слова "фиг тебе" означают "подношу тебе в подарок спелую, сладкую фигу". А во-вторых, фи́га, она же дуля, она же кукиш, означает для японца нечто иное, нежели для европейца или, по крайней мере, для русского. Этой несложной фигурой из трех пальцев в Японии когда-то пользовались уличные дамы, выражая готовность обслужить клиента...

Я и сам не заметил, как эта работа увлекла меня.

Вообще говоря, я не люблю писать писем и положил себе за правило отвечать только на те письма, которые содержат вопросы. Письмо же Рю Таками содержало не просто вопросы, оно содержало вопросы деловые, причем по делу, в котором я сам был заинтересован. Поэтому я встал из-за стола только тогда, когда закончил ответ, перепечатал его (выдернув из машинки незаконченную страницу сценария), вложил и заклеил в конверт и надписал адрес.

Теперь у меня было, по крайней мере, два повода выйти из дому. Я оделся, кряхтя, натянул на ноги башмаки на "молниях", сунул в нагрудный карман пятьдесят рублей, и тут раздался телефонный звонок.

Сколько раз я твердил себе: не бери трубку, когда собираешься из дому и уже одет. Но ведь это же Рита могла вернуться из командировки, как же мне было не взять трубку? И я взял трубку, и сейчас же раскаялся, ибо звонила никакая не Рита, а звонил Леня Баринов, по прозвищу Шибзд.

У меня есть несколько приятелей, которые специализируются по таким вот несвоевременным телефонным звонкам. Например, Слава Крутойярский звонит мне исключительно в те моменты, когда я ем суп - не обязательно, впрочем, суп. Это может быть борщ или, скажем, солянка. Тут главное, чтобы половина тарелки была уже мною съедена, а оставшаяся половина как следует остыла во время телефонной беседы. Гарик Аганян выбирает время, когда я сижу в сортире и притом ожидаю важного звонка. Что же касается Лени Баринова, то его специальность - звонить либо когда я собираюсь выйти и уже одет, либо когда собираюсь принять душ и уже раздет, а паче всего - рано утром, часов в семь, позвонить и низким подпольным голосом отрывисто спросить: "Как дела?".

Леня Баринов, по прозвищу Шибзд, спросил меня низким подпольным голосом:

- Как дела?

- Собираюсь уходить, - сказал я сухо, но это был неверный ход.

- Куда? - сейчас же осведомился Леня.

- Леня, - сказал я теперь уже просительно. - Может быть, потом созвонимся? Или ты по делу?

Да, Леня звонил по делу. И дело у него было вот какое. До Лени дошел слух (до него всегда доходят слухи), будто всех писателей, которые не имели публикаций в течение последних двух лет, будут исключать. Я ничего не слышал по этому поводу? Нет, точно ничего не слышал? Может быть, слышал, но не обратил внимания? Ведь я никогда не обращаю внимания и потому всегда тащусь в хвосте событий... А может, исключать не будут, а будут отбирать пропуск в клуб? Как я думаю?

Я сказал как я думаю.

- Ну, не груби, не груби, - примирительно попросил Леня. - Ладно. А куда ты идешь?

Я рассказал, что иду отправлять заказное письмо, а потом на Банную. Лене все это было неинтересно.

- А потом куда? - спросил он.

Я сказал, что потом, наверное, зайду в клуб.

- А зачем тебе сегодня в клуб?

Я сказал, закипая, что у меня в клубе дело: мне там надо дров

наколоть и продуть паровое отопление.

- Опять грубишь, - произнес Леня грустно. - Что вы все такие грубые? Кому ни позвонишь - хам. Ну, не хочешь по телефону говорить - не надо. В клубе расскажешь. Только учти, денег у меня нет...

Потом я повесил трубку и посмотрел в окно. Уже совсем смерклось, в пору было зажигать лампу. Я сидел у стола в пальто и в шапке, в тяжелых своих своих, жарких ботинках. И идти мне теперь уже никуда не хотелось совсем. Собственно, письмо в Японию можно послать и не заказным, ничего с ним не сделается, наляпаю побольше марок и брошу в ящик. И Банная подождет, с нею тоже ничего не сделается до завтра... Ты посмотри, какая вьюга разыгралась, вовсе ничего не видно. Дом напротив - и того не видно, только слабо светятся мутные желтые огоньки. Но ведь сидеть вот так просто, всухомятку, с двумя сотнями рублей - тоже глупо и расточительно. А сбегая-ка я вниз, благо, все равно одет.

И я сбегал вниз, в нашу кондитерскую. В нашу странную кондитерскую, где слева цветут на прилавке кремовые розы тортов, а справа призывно поблескивают ряды бутылок с горячительными напитками. Где слева толпятся старушки, дамы и дети, а справа чинной очередью стоят вперемежку солидные портфеленосцы-кейсовладельцы и зверообразные, возбужденно-говорливые от приятных предвкушений братья по разуму. Где справа мне давно уже не нужно было ничегошеньки, а слева я взял полдюжины "александровских" и двести грамм "Ойла союзного", каковое, да будет вам известно, "представляет собой однородную белую конфетную массу, состоящую из двух или нескольких слоев прямоугольной формы, украшенную черносливом, изюмом и цукатами".

И поднимаясь в лифте к себе на шестнадцатый этаж, прижимая нежно к боку пакет со сладостями, вытирая свободной ладонью с лица растаявший снег, я уже знал, как я проведу этот вечер. То ли пурга, из которой я только что выскочил, слепая, слепящая, съевшая остатки дня пурга была тому причиной, то ли приятные предвкушения, которых я, как и все мои братья и сестры по разуму, не чужд, но мне стало ясно совершенно: раз уж суждено мне закончить этот день дома и раз уж Рита моя все не возвращается, то не стану я звонить ни Гоге Чачуа, ни Славке Крутойрскому, а закончу я этот день по-особенному - наедине с самим собой, но не с тем, кого знают по комиссиям, семинарам, редакциям и клубу, а с тем, кого не знают нигде.

Мы с ним сейчас очистим стол на кухне, поставим чайник, расположим на плетеных салфетках алюминиевую формочку с заливным мясом от гостиницы "Прогресс", блюдце с пирожными и Ритину вазочку с "Ойлом союзным", мы включим по всей квартире свет - пусть будет светло! - и перетащим из кабинета торшер, мы с ним откроем единственный ящик стола, запираемый на ключ, достанем синюю папку и, когда настанет момент, развяжем зеленые тесемки.

Пока я отряхивался от снега, пока переодевался в домашнее, пока осуществлял свою нехитрую предварительную программу, я неотрывно думал, как поступить с телефоном. Выяснилось вдруг, что именно нынче вечером мне могли позвонить, более того - должны были позвонить многие и многие, в том числе и нужные. Но с другой стороны, я ведь не вспомнил об этом, когда всего полчаса назад намеревался провести вечер в клубе, а если и вспомнил бы, то не посчитал бы эти звонки за достаточно нужные. И в самый разгар этих внутренних борений рука моя сама собой протянулась и выключила телефон.

И сразу стало сугубо уютно и тихо в доме, хотя по-прежнему брэнчало за стеной неумелое пианино, и доносилось через отдушину в потолке кряканье и бормотанье магнитофонного барда.

И вот момент настал, но я не торопился, а некоторое время еще смотрел, как бьет в оконное стекло с сухим шелестом из черноты сорвавшаяся с цепи вьюга... А жалко, право же, что там у меня не бывает вьюг. А впрочем, мало ли чего там не бывает. Зато там есть многое из того, чего не бывает здесь.

Я неторопливо развязал тесемки и откинул крышку папки. Мельком я и скорбно, и радостно подумал, что не часто позволяю себе это, да и сегодня бы не позволил, если бы не... Что? Вьюга? Леня Шибзд?

Титула на титульном листе у меня не было. Был эпиграф: "...знаю дела твои и труд твой, и терпенье твое и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы..." и была наклеена на титульный лист

дрянная фоторепродукция: под нависшими ночными тучами замерший от ужаса город на холме, а вокруг города и вокруг холма обвился исполинский спящий змей с мокро отсвечивающей гладкой кожей.

Но не эту картинку, знакомую многим и многим, я сейчас видел перед собой, а видел я сейчас то, чего не видел, кроме меня, и видеть не мог никто во всем белом свете. Во всей Вселенной никто. Откинувшись на спинку дивана, впившись руками в край стола, я наблюдал, как на своем обычном месте, всегда на одном и том же месте, медленно разгорается малиновый диск. Сначала диск дрожит, словно пульсируя, становится все ярче и ярче, наливается оранжевым, желтым, белым светом, потом угасает на мгновение и тотчас же вспыхивает во всю силу, так что смотреть на него становится невозможно. Начинается новый день. Непроглядно черное беззвездное небо делается мутно-голубым, знойным, веет жарким, как из пустыни, ветром, и возникает в круг как бы из ничего город - яркий, пестрый, исполосованный синеваыми тенями, огромный, широкий - этажи громоздятся над этажами, здания громоздятся над зданиями, и ни одно здание не похоже на другое, они все здесь разные, все... И становится видна справа раскаленная желтая стена, уходящая в самое небо, в неимоверную, непроглядную высь, изборожденная трещинами, обросшая рыжими мочалами лишаев и кустарников... а слева, в просветах над крышами, возникает голубая пустота, как будто там море, но никакого моря там нет, там обрыв, неоглядно сине-зеленая пустота, сине-зеленое ничто, пропасть, уходящая в непроглядную глубину.

Бесконечная пустота слева и бесконечная твердь справа, понять эти две бесконечности не представляется никакой возможности. Можно только привыкнуть к ним. И они привыкают - люди, которыми я населил этот город на узком, всего в пять верст уступе между двумя бесконечностями. Они попадают сюда по доброй воле, эти люди, хотя и по разным причинам. Они попадают сюда из самых разных времен и еще более разных обстоятельств, их приглашают в город называющие себя Наставниками для участия в некоем эксперименте, ни смысла, ни задач которого никто не знает и знать не должен, ибо эксперимент есть эксперимент, и знание его смысла неизбежно отразилось бы на его результате... У меня их миллион в моем городе - беглецов, энтузиастов, фанатиков, разочарованных, равнодушных, авантюристов, дураков, сумасшедших, целые сонмища чиновников, вояк, фермеров, бандитов, проституток, добропорядочных буржуа, работяг, полицейских, и неопишное наслаждение доставляет мне управлять их судьбами, приводить их в столкновение друг с другом и мрачными чудесами эксперимента. Я, наверное, никогда не закончу эту вещь, но я буду ее писать, пока не впаду в маразм, а может быть, и после этого. Клянешься ли ты и далее писать и придумывать про город до тех пор, пока не впадешь в полный маразм, а может быть и далее? А куда мне деваться? Конечно, клянусь, сказал я и раскрыл рукопись.

2

С вечера я не принял сутак, и поэтому с утра чувствовал себя очень вялым, апатичным и непрерывно преодолевал себя: умывался через силу, одевался через силу, прибирался, завтракал... И пока все это я делал, боже мой, думал я, как это все-таки хорошо, что нет надо мной Клары и что я вообще один!

Позвонила Катька, и опять пришлось мне врать и оправдываться, потому что насчет постройки ей шубы в нашем ателье я опять ничего не предпринял. Впрочем, звонила Катька вовсе не насчет шубы: оказалось, что она намерена зайти ко мне сегодня или завтра вечером и принести мне продуктовый заказ только и всего. Мы повесили трубки, и я на радостях ссыпал в чашку последние остатки бразильского кофе, которые хранил для особо торжественного случая.

А за окном погода сделалась чудесная. Вьюги вчерашней не было и в помине, солнце выглянуло, которого не видно было с самого Нового года, прихотливо изогнутый сугроб у меня в лоджии весело искрился, и подморозило, видимо, потому что за каждой машиной на шоссе тянулся шлейф белого пара. Давление установилось, и не усматривалось никакой причины сесть за сценарий.

Впрочем, предварительно я трижды позвонил в ателье - и все три раза без всякого толка. Надо сказать, звонки эти носили чисто ритуальный характер: если человек всерьез намерен построить для дочери шубу, ему надлежит идти в ателье самому, производить массу аллегорических телодвижений и произносить массу аллегорических фраз, все время рискуя нарваться либо на открытую грубость, либо на подленькую увертливость.

Затем я сел за машинку и начал прямо с фразы, которую придумал еще вчера, но не пустил в ход, а сберег специально для затравки на сегодня: "Это не по ним, это по товарищам справа...". И сначала все пошло у меня лихо, бодро, весело, по-суворовски, но уже через час с небольшим я обнаружил, что сижу в расслабленной позе и тупо, в который уже раз, перечитываю последний абзац: "А комиссар все смотрит на горящий танк. Из-под очков текут слезы, он не вытирает их, лицо его неподвижно и спокойно".

Я уже чувствовал, что застрял, застрял надолго и без всякого просвета. И не в том было дело, что я не представлял себе, как события будут развиваться дальше: все события я продумал на двадцать пять страниц вперед. Нет, дело было гораздо хуже: я испытывал что-то вроде мозговой тошноты.

Да, я отчетливо видел перед собой и лицо комиссара, и полуобрушенный окоп, и горящий "тигр". Но все это было словно бы из папье-маше. Из картона и из раскрашенной фанеры. Как на сцене захудалого дома культуры.

И в который раз с унылым удовлетворением вспомнил я, что писать должно либо о том, что ты знаешь очень хорошо, либо о том, чего не знает никто. Большинство из нас держится иного мнения - ну и что же? Правильно сказала дочь моя Катя: надо всегда оставаться в меньшинстве.

Да черт же подери, подумал я почти с отчаянием. Ведь есть же у нас люди, которым это дано, которым это отпущено судьбою в полной мере... Вергилии наши по катакомбам ни за что не забываемого огненно-ледяного ада... Симонов у нас есть, нежно мной любимый Константин Михайлович, и Василь Быков, Горький мастер, и несравненный Богомолов, и поразительный "Сашка" есть у нас Вячеслава Кондратьева, и Бакланов Гриша, тоже мой любимый, и ранний Бондарев... Да мне их всех и не перечислить. И не надо. К чему мне их перечислять, мне плакать надо, что никогда мне не быть среди них, - не заслужил я этого кровью, потом, грязью окопной не заслужил и теперь никогда уже не заслужу. Вот и выходит, что никакой нет разницы между маститым Феликсом Сорокиным и мальчишечкой пятьдесят четвертого года рождения, взявшемся вдруг писать о Курской Дуге, - не о БАМе, заметьте, писать взявшемся и не о склоке в родном НИИ, а о том, что видел он только в кино, у Озерова видел. Такие вот пироги, Феликс Александрович, - если откровенно...

Я терпеть не могу таких вот пирогов, я от них делаюсь больной. И я тут же решил, что не дам загнать себя в уныние. В конце концов, у меня и без того много дел, нечего сидеть и киснуть. Меня ждут на Банной.

Торопливо, сминая страницы, я засунул черновики сценария в специально отведенный для него пластиковый футляр и принялся одеваться. "В движеньи мельник должен жить...", - бормотал я, с кряхтеньем натягивая башмаки. "Вода примером служит нам!.." - спел я во весь голос, укладывая в папку блистательную пьесу "Корягины". Я отгонял страх. "В крайнем случае отдам аванс!" - громко произнес я, натягивая куртку. Но дело было не в авансе. Что-то уж слишком часто в последнее время стали нападать на меня такие вот пробуксовки в работе, а если говорить прямо - приступы отвращения к работе, которая меня кормит.

Стоя на лестничной площадке в ожидании лифта, я, чтобы наверняка отвлечься, стал думать о том, что вот уже третий день пошел, как со мной не случается ничего нелепого и дурацкого - похоже, тот, кому надлежит ведать моей судьбой, совсем иссяк и стал не годен даже на дурацкие чудеса... А лифты все не поднимались, ни большой, ни малый, и я постучал по створкам одного и другого и прислушался. Снизу доносились гулко невнятные голоса. Тогда я чертыхнулся и стал спускаться по лестнице.

На площадке десятого этажа я увидел, что дверь в квартиру Кости Кудинова, поэта, настезь распахнута и из нее выдвигается обширная спина в белом халате. "Ну вот, опять", - подумал я сразу же. И не ошибся. Костю Кудинова выносили на носилках, и большой лифт был раскрыт, чтобы вместить его. Костя был бледен до зелени, мутные глаза его то закрывались, то

сходились к переносице, испачканный рот был вяло распушен.

Мне показалось вначале, что Костя пребывает без сознания, и я не могу сказать, чтобы зрелище это горько потрясло меня или хотя бы расстроило. Мы с ним были всего лишь знакомые - соседи по дому и члены одной писательской организации, вполне многочисленной. Как-то десяток лет назад во время какой-то кампании он публично выступил против меня - вздорно, конечно, выступил, однако довольно едко. Правда, он потом принес извинения, сказавши, что спутал меня с другим Сорокиным, с Сорокиным из детской секции, так что с тех пор мы при встречах приветливо здороваемся, обмениваемся слухами и досадуем, что никак не удастся собраться и посидеть. Но в остальном он был мне вообще-то никем, и вдобавок, поглядев на него, решил было я, что он попросту опять набрался сверх своей обычной меры. Словом, если бы все это было предоставлено равнодушной природе, Костю Кудинова, поэта, должны были бы сейчас занести в приготовленный лифт, створки бы сдвинулись, скрыв его от моих глаз, я уточнил бы у врача, что же все-таки произошло, а вечером рассказал бы об этом небольшом происшествии кому-нибудь в клубе.

Но тот, кому надлежит ведать моей судьбой, был, оказывается, еще полон сил.

- Феликс! - произнес Костя таким отчаянным голосом, что санитары враз остановились, ожидая продолжения. - Сам бог тебя ко мне послал, Феликс...

Тут глаза его закатились, и он умолк. Но едва санитары, не дождавшись продолжения, стронулись с места, как он заговорил снова. Говорил он сбивчиво, не очень внятно, срываясь с хрипа на шепот, и все требовал, чтобы я записывал, и я, конечно, послушно раскрыл папку, достал авторучку и стал записывать на клапане: "М.Сокольники, Богородское шоссе, авт.239, институт, Мартинсон Иван Давыдович. Мафусаллин". То есть мне предстояло сейчас перетянуться на противоположный край Москвы, отыскать где-то на Богородском шоссе какой-то неведомый институт, в институте добраться до некоего Мартинсона и попросить у него для Кости этого самого мафусаллина. ("Хоть две-три капли... Мне не полагается, но все равно пусть даст... Помру иначе...") Затем створки лифта сдвинулись, и я остался на площадке один.

Буду совершенно откровенен. Не было у меня совсем ни жалости какой-либо, ни тем более желания проделывать эти сложнейшие эволюции в пространстве и в моем личном времени. С какой стати? Кто он мне? Полузнакомый упившийся поэт! Да еще выступавший против меня - пусть по ошибке, но ведь против, а не за! Я бы, конечно, никуда сейчас не поехал, в том числе и на Банную, слишком все это меня расстроило и раздражило. Но тут из Костиной квартиры вышел и встал рядом со мною у двери врач, добрый доктор Айболит с незакуренной "беломориной" в углу рта. И я спросил его, что с Костей, и он ответил мне, что у Кости подозрение на ботулизм, тяжелое отравление консервами. Я испугался. Я сам травился консервами на Камчатке, чуть богу душу не отдал.

Створки лифта раздвинулись, мы с врачом вошли, и я спросил, сверившись с записью на клапане папки, поможет ли Косте этот самый мафусаллин. Врач непонимающе на меня взглянул, и я прочитал ему по слогам: ма-фу-сал-лин. Однако врач ничего про мафусаллин не знал, и я сделал вывод, что это лекарство новое и даже новейшее.

У "неотложки" мы расстались. Несчастного Костю повезли в Бирюлево, в новую больницу, а я направился к метро.

Ехать мне никуда не хотелось по-прежнему. Я честно признался себе - это было как откровение, - что Костя никогда не был мне симпатичен: совершенно чужой, сущеглупый и бесталанный человек. Ботулизм его вызывал, правда, определенное сочувствие, но и раздражение он тоже вызывал, и с каждой минутой раздражение это становилось все сильнее сочувствия. Какого черта я, пожилой и больной человек, должен тащиться через весь город в какой-то неведомый институт к какому-то неведомому Мартинсону за каким-то неведомым мафусаллином, о котором даже врач ничего не знает... Бродить, расспрашивать, искать, а потом искательно упрашивать, ведь Костя сам признал, что ему не полагается... И ведь непременно выяснится, что никакого такого института нет, а если институт и есть, то нет в нем никакого Мартинсона... Что все это вообще Костин бред, полубомбочные видения, отравлен же человек, и отравлен сильно...

Увязая, в небранном дворниками снегу, то и дело оскальзываясь на

скрытых ледяных рывках, я пробирался к метро, придумывая себе все новые и новые оправдания, хотя знал уже совершенно твердо, что чем больше оправданий я придумаю, тем вернее повезет меня кривая через всю Москву за Сокольники к Мартинсону Ивану Давыдовичу, а потом с тремя каплями драгоценного мафусаллина обратно через всю Москву в Бирюлево спасти совершенно мне ненужного и несимпатичного Костю Кудинова, поэта...

Слава богу, метро от нас до Сокольников без пересадок, народу в это время (около двух) немного, я забрался в угол и закрыл глаза. Мысли мои приняли несколько иное, профессионально, если так можно выразиться, направление.

В который уже раз подумал я о том, что литература, даже самая реалистическая, лишь очень приблизительно соответствует реальности, когда речь идет о внутреннем мире человека. Я попытался припомнить хоть одно литературное произведение, где герой, оказавшийся в моем или похожем положении, позволил бы себе сколько-нибудь отчетливо, без всяких экивоков, выразить нежелание ехать. Читатель не простил бы ему этого никогда.

Пусть герой все равно бы поехал, преодолел бы тысячи препятствий, совершил бы чудеса героизма, но все равно так и остался бы с неким неоправданным пятном - в глазах читателя и уж тем более в глазах издателя.

Вообще-то положительному герою в наши либеральные времена разрешается иметь многие недостатки. Он может быть плохим семьянином, разгильдяем и неумехой, он может быть человеком совершенно легкомысленным и поверхностным. Одно запрещено положительному герою: практическая мизантропия. Легче верблюду пролезть сквозь игольное ушко, нежели литературному герою стать положительным, если он, герой, хоть раз позволит себе пройти равнодушно мимо птички с перебитым крылышком. Вот и выходит, что я, Феликс Александрович Сорокин, по всем литературным нормам - как отечественным, так и зарубежным, - в лучшем случае являюсь нравственным калекой.

Этот вывод развеселил меня и привел в хорошее настроение. Во-первых, сегодня опять можно было не ехать на Банную под предлогом не только вполне законным, но и высокогуманным. Во-вторых, достаточно во-первых. На обратном пути я возьму такси. Деньги, слава богу, есть. Смотаюсь в Бирюлево, отдам этот мафусаллин и на том же такси напрямик в клуб...

Я стал задремывать и подумал сквозь дрему, какое же, однако, странное название у этого новейшего лекарства. Мафусаллин. Оно вызывает ассоциации. Турция. Ближний Восток почему-то. Мафусаил. Библия?..

Институт я нашел без труда. Автобус остановился напротив проходной, в обе стороны от которой тянулся вдоль пустынной улицы бесконечный высоченный забор. Вывески на проходной не было, а у крыльца стоял, руки в карманы, какой-то мужчина без пальто, но в шапке-ушанке с задранными ушами. Он покосился на меня, но ничего не сказал, и я вступил в жарко натопленную будку. Наверное, мне следовало, не глядя ни направо, ни налево, протопать себе по коридорчику и дальше наружу, но я так не умею. Я сунулся лицом к крошечному окошечку и спросил искательно:

- К Мартинсону Ивану Давыдовичу как мне пройти?

За окошечком пил из блюдца чай вприкуску сморщенный старикашка в засаленном кителе. Он неторопливо поставил дымящееся блюдце на стол, достал из-под стола засаленную фуражку с кантом и аккуратно напаялил ее себе на плешь.

- Пропуск, - сказал он.

Я сказал, что пропуска у меня нет. Это признание подтвердило самые худшие его опасения. Словно с утра еще его предупредили, что полезет один без пропуска, так вот его ни в коем случае пускать нельзя. Он выбрался из-за стола, выдвинулся в коридорчик и загородил собой турникет. Я принялся ныть и кланяться. Чем жалобней я ныл, тем непреклоннее становился жестокий старик, и длилось это до той минуты, пока я не осознал, что передо мной непреодолимое препятствие, а потому можно с легким сердцем гнать отсюда прямо в клуб. Я с наслаждением обозвал старикашку древней гнидой и, очень довольный, повернулся и вышел.

Ах, не тут-то было!

- Не пускает, - утвердительно произнес мужчина в шапке с задранными ушами.

- Гнида старая, персидская, - объяснил я ему.

И тогда мужчина, которого никто об этом не просил, с большой охотой

рассказал мне, что через проходную нынче никто не ходит, не пускают никого через проходную, а ходят нынче все сквозь забор, в ста шагах отсюда есть в заборе дыра, через нее все нынче и ходят, потому что кому это охота по Богородскому вдоль забора три версты крюка давать, а так ты сквозь забор, через территорию и снова сквозь забор, и ты у винного.

Что мне оставалось делать? Я поблагодарил доброго человека и в точности последовал его указаниям. От пролома в заборе через занесенную снегом огромную территорию вела хорошо утоптанная дорожка. Справа от дорожки громоздилась какая-то законсервированная стройка, а слева возвышался пятиэтажный корпус белого кирпича с широкими школьными окнами. Видимо, это и был собственно институт. К нему от дорожки ответвлялась тропа, тоже хорошо утоптанная.

У входа в институт (широкое низкое крыльцо, широкая застекленная дверь под широким бетонным козырьком) трое мужчин, опять-таки без пальто и в шапках с задранными ушами, вскрывали контейнер, заляпанный иностранными надписями. Я миновал их, поднялся по ступенькам и вступил в вестибюль.

Это было обширное помещение, залитое светом ртутных ламп, и было в нем полно людей, которые, по-моему, ничем не занимались, а только стояли кучками и курили. Наученный горьким опытом, я никого ни о чем не стал спрашивать, а двинулся прямо к гардеробу, где разделся, держа на лице хмуро-озабоченное выражение и стараясь выставлять напоказ свою папку.

Потом я причесался перед зеркалом и поднялся по лестнице на второй этаж. Почему именно на второй - я объяснить бы не сумел, да и не спрашивал никто у меня объяснений по этому поводу. Здесь тоже пол был покрыт плиткой, тоже сияли ртутные лампы, и тоже стояли кучками люди с сигаретами. Я высмотрел молодого человека, стоявшего отдельно. У него тоже было хмуро-озабоченное выражение лица, и я подумал, что уж он-то не станет выяснять, кто я, зачем я здесь и имею ли я право.

Я не ошибся. Он рассеянно, даже не глядя на меня, объяснил, что Мартинсон скорее всего у себя в нужнике, это на третьем этаже сразу за скелетами направо, а номер нужника - тридцать семь.

Никаких скелетов я на третьем этаже не обнаружил, не знаю, что имел в виду молодой человек с образной речью. А нужник номер тридцать семь оказался большой, очень светлой комнатой. Было там множество стекла и мигающих огоньков, на экранах, как и положено, змеились зеленоватые кривые, пахло искусственной жизнью и разумными машинами, а посередине комнаты, спиной ко мне, сидел какой-то человек и громко разговаривал по телефону.

- Брось! - гремел он. - Какой закон? Напирай плотней! Оставь! При чем здесь Ломоносов-Лавуазье? Главное, напирай плотней!

Потом он бросил трубку, повернулся ко мне и рявкнул:

- В местком, в местком!

Я сказал, что мне нужен Иван Давыдович. Он налился кровью. Был он огромен, плечист, с могучей шеей и с всплохоченной пегой шевелюрой.

- Я сказал - в местком! - гаркнул он. - С трех до пяти! А здесь у нас разговора не будет, вам ясно?

- Я от Кости Кудинова, - произнес я.

Он как бы споткнулся.

- От Кости? А в чем дело?

Я рассказал. Пока я рассказывал, он встал, обошел меня и плотно закрыл дверь.

А вы, собственно, кто такой? - спросил он. Краска ушла с его лица, и теперь он был скорее бледен. В глаза он мне не смотрел.

- Я его сосед.

- Это я понял, - сказал он нетерпеливо. - Кто вы такой, вот что я спрашиваю...

Я представился.

- Мне это имя ничего не говорит, - объявил он и уставился мне в переносицу. Глаза у него были черные, близко посаженные, двустволка да и только.

Я разозлился. Черт подери! Опять меня заставляют оправдываться!

А мне ваше имя тоже, между прочим, ничего не говорит, - сказал я. - Однако вот я через всю Москву к вам перся...

- Документ у вас есть какой-нибудь? - прервал он меня. - Хоть что-нибудь...

Документов у меня не было. Не ношу. Он подумал.

- Ладно, я сам этим займусь. В какой, вы говорите, он больнице?

Я повторил.

- Чтоб его там... - пробормотал он. - Действительно другой конец Москвы... Ну, ладно, идите. Я займусь.

Внутренне kloчоча, я повернулся, чтобы идти, и уже взялся за дверную ручку, как он вдруг спохватился.

- Па-азвольте! - пророкотал он. - А как же вы сюда попали? Без пропуска! У вас даже документов нет!

- А через дыру! - сказал я ядовито.

- Через какую дыру?

- А в заборе! - сказал я мстительно и вышел. Весь в белом.

Я спускался по лестнице, когда меня поразила ужасная мысль: а вдруг этот лютый Мартинсон как раз сейчас звонит по телефону, и через минуту ко всем дырам в заборе побегут вихровцы вперемежку с плотниками, и я окажусь в мешке, как какой-нибудь битый Паулюс... Не удержавшись, я побежал сам, мысленно снова и снова проклиная Костю Кудинова с его ботулизмом и свою хромую судьбу. Только заметив, что на меня оглядываются, я сумел взять себя в руки и появился перед гардеробщиком как подобает деловому, хмуро-озабоченному человеку с карманами, набитыми пропусками и документами.

Спустившись с крыльца, я почему-то оглянулся. Сам не знаю, почему. И вот что я увидел. За стеклянной дверью, упершись в стекло огромными ладонями и выставив бледное лицо, пристально смотрел мне в спину Иван Давыдович Мартинсон, собственной персоной. Словно вурдалак вслед ускользнувшей жертве.

Стыдно признаться, но я снова перешел на бег. Несмотря на мои сосуды. Несмотря на мое брюхо. Несмотря на мою перемежающуюся хромоту. Лишь когда я, нырнув в дыру, вынырнул на Богородское шоссе, чувство собственного достоинства моего возопило, наконец, и я перешел на шаг, застегивая куртку и поправляя сбившуюся шапку. Очень не нравилось мне это приключение, и особенно не нравился мне Иван Давыдович Мартинсон, и я снова проклинал Костю с его ботулизмом, и давал себе клятву, что впредь никогда и никто, и ни за что...

После всех этих передраг не могло быть и речи о том, чтобы ехать на Банную. Только в клуб. Только в клуб! В наш ресторанный зал, обитый коричневым деревом! В атмосферу прельстительных запахов! За мой столик под крахмальной скатертью! под крылышко к Сашеньке... Хотя нет, сегодня нечетный день. Значит, под крылышко к Аленушке! Правильно, и сразу же отдать ей долг, и заказать селедочку, масляно поблескивающую, жирную, тающую, ломтиками, посыпанную мелко нарезанным зеленым лучком, а к ней три-четыре рассыпчатых картофелины и тут же кубик масла прямо из ледяной воды, и бутылочку "плзеньского" (нет-нет, без этого не обойдется, я это заслужил сегодня)... И еще соленые грузди, сопливенькие, в соку, вперемешку с репчатым луком кольчиками... А притушив первый голод и взвинтив в себе настоящий аппетит, мы обратимся к солянке мясной, которую у нас в клубе, к счастью, готовить еще не разучились, и будет она у нас в тусклом металлическом бачке, янтарная, парящая, скрывающая под поверхностью своею деликатесные мяса разного вида и черные лоснящиеся маслины... Батюшки, главное чуть не забыл! Калач! Наш знаменитый клубный калач с ручкой для держания, пухлый, мягкий, поджаристый... И парочку надо будет прихватить с собою домой. Ну-с, теперь второе...

Однако второе просмаковать я не успел, потому что почувствовал вдруг какое-то неудобство, неловкость какую-то и, вернувшись к действительности, обнаружил, что мчусь уже в метро, двое долговязых с сумками адидас нависают надо мною, а в просвет между ними уставились на меня сквозь стекла очков пристальные светлые глаза. Лишь одну секунду видел я эти глаза, а также рыжую норвежскую бородку и белое кашне между отворотами клетчатого пальто, а затем поезд начал тормозить, долговязые сомкнулись, и мой наблюдатель исчез из виду.

Мне показалось, что глядел он на меня неприлично внимательно, словно у меня было что-то не в порядке с одеждой или лицо испачкано. На всякий случай я даже проверил, не нахлобучил ли второпях шапку задом наперед. Впрочем, когда через минуту между долговязыми вновь образовался просвет, мой наблюдатель мирно дремал, сложив на животе руки - средних лет мужчина,

очки в металлической оправе и клетчатое пальто, какое было в моде несколько лет назад. Помнится, поражали такие пальто мое воображение тем, что их можно было носить и на левую сторону тоже: с одной стороны, например, они были черные в серую клетку, а на выворот - серые в черную.

Мимолетный эпизод этот отвлек меня все-таки от гастрономических видений, и я вспомнил почему-то, как лежал в больнице и целый месяц меня кормили чудовищно пресной, нарочито вываренной пищей, от которой взяла меня такая тоска, что врачи в конце концов разрешили Катьке принести мне холодного цыпленка табака. О том, что предстоит в этом смысле отравленному Косте, страшно подумать. Да и некогда мне было думать об этих вещах, потому что поезд остановился на "Кропоткинской", и я заторопился к выходу.

Подслеповатая дежурная в дверях клуба потребовала, чтобы я предъявил писательский билет, и в который раз я попытался втолковать ей, что вот уже четверть века состою в писателях и по крайней мере пять лет прохожу в клуб мимо нее, старой кочерыжки. Она не поверила ни единому моему слову, но тут дядя Коля прогудел из недр гардероба: "Свой, свой, Марья Тимофеевна!", и я был пропущен.

Беседуя с дядей Колей о погоде, я нарочито неторопливо разоблачился, взял с барьера листок клубной газеты, оставив вместо него монетку, причесался и расчесал усы, раскланиваясь с отражениями знакомых, возникавшими в глубине зеркала, а затем продолжая раскланиваться, наполняясь теплым ощущением уюта, отстраняясь от всего неудобного и тревожного, бодро зашагал в ресторанный залу.

А далее все получилось по программе, с тем только отклонением, что не оказалось соленых груздей. Когда я доедал солянку к столику моему начала прибавляться обычная компания. Первым был Гарик Аганян, у которого через час начинался ихний семинар. Двух слов мы сказать не успели, как из-за столика в дальнем углу поднялся и приблизился к нам, хромая, Жора Наумов. Выяснилось, что нынче утром он забежал в Москву по дороге из Краснодара в Таллинн. Виды на урожай на юге, оказывается, хорошие, а что до остального, то оно, как всегда, в руках божьих. И тут же возник на нашем горизонте Валя Демченко, держа под мышкой новую трость с рукояткой в виде львиной лапы.

Мы обсудили эту трость, поговорили об урожае озимых, и о прошлогоднем нашествии филлоксеры; Гарик, чертя вилкой по скатерти, объяснил нам, как надлежит понимать появившуюся в центральной прессе заметку под названием "Дыра во вселенной", а потом я рассказал про мои с Костей Кудиновым сегодняшние беды.

Это мое сообщение вызвало реакцию вялую и не вполне мною ожидаемую. Гарик пробормотал пренебрежительно: "Ничего, выплывет, дерьмо не тонет". Валя лениво процитировал старую, им же самим о Косте придуманную хохму: "Вчера в Белом Зале помощник председателя иностранной комиссии товарищ Кудинов принял группу писателей Парагвая за группу писателей Уругвая...". А Жора Наумов, разглядывая мир сквозь фужер с минеральной, пересказал нам выступление студента литинститута Кости Кудинова, в те поры румяного, задорного и непьющего, на общем собрании курса в памятном тысяча девятьсот сорок девятом. Когда Жора закончил, все помолчали, а затем Валя с интересом спросил: "Ну, и что же ты?". - "А что я? - агрессивно произнес Жора. - Хотел ему морду набить, так ведь он был тогда здоровенный, штангист, разрядник, понимаешь, а у меня обе ноги прострелены, я тогда меж двух костылей болтался, как..." - "Но потом, - сказал Гарик, - когда ты без костылей заходил... И вообще, в благословенном пятьдесят девятом... Он перед тобой случайно не извинился?" - "А как же! Даже стихи мне посвятил. В "Литературке". На манер Пушкина, про лицейскую дружбу..." - "Пожалуй, будь себе татарин?..." - ядовито предположил Валя. Мы поржали - не очень весело, впрочем, и заговорили о стихах, а потом разговор как-то незаметно перекинулся на Банную.

Выяснилось, что все, кроме меня, на Банной уже побывали.

Дисциплинированный Гарик сходил туда сразу же, еще в октябре. Абсолютно ничего интересного. Довольно убогая машина, может быть ЕС 1020, а может быть, и вовсе какой-нибудь "Минск" поплоше. Сидит тунеядец в черном халате, берет у тебя рукопись и по листочку сует ее в приемную щель. На дисплее загораются цифры, а засим можешь спокойно идти домой.

Жора, побывавший там под самый Новый год, возразил, что никакой машины там не было, а были там какие-то серые шкафы, тунеядец был не в

черном халате, а в белом, и пахло там печеной картошкой. В общем, мура, обман трудящихся. Если хотите знать мое мнение, сказал Жора Наумов, то все очень просто: какой-то жук из академии наук охмурил нашего Теодора Михеича и гонит себе сейчас докторскую из нашего трудового пота.

В ответ на этот антинаучный выпад Валя Демченко возразил, что это было бы еще полбеда, а беда (с таинственным видом сообщил он) состоит в том, что вот уже много лет идет разработка кибернетического редактора. Ученые - писателям. В порядке помощи. Собственно, сам робот-редактор уже создан, и теперь его на наших рукописях только дрессируют. И вот когда эта машина вступит в строй, вот тут нам всем будет конец, потому что она не только грамматические ошибки будет исправлять и стиль править, она, дяденьки, подтекст на два метра под текстом будет угадывать. Она, дяденьки, сразу определит, кто есть кто и почему.

Я с уважением смотрел на Валу, ощущая в этой его вдохновенной белиберде флер некоего благородного, близкого мне безумия. Гарик откровенно хихикал, а Жора, человек, близкий к земле, сердито спросил, откуда это ему, Валентину, может быть известно.

- В глаза! - проникновенно произнес Валя. - В глаза надо человеку смотреть, дяденька! Не какой у него там халат, черный или белый, а в глаза! Я как в глаза ему посмотрел, так все и понял!

Гарик налил ему пива, и Валя продолжал. Робот-редактор, оказывается, был только зарею новой эры. Это машина громоздкая, стационарная, дорогая. А вот на подходе уже, если хотите знать, дяденьки, специальные пишущие машинки, пока еще только для нас, прозаиков. На этих машинках установлены специальные электронные ограничители. Представляете? Печатаешь ты двумя пальцами: "ж...", а на бумаге выходит "окорока", "пятая точка", "афедрон" и уж в самом крайнем случае "ж" с тремя точками.

И тут среди нас возник Петенька Скоробогатов, по прозвищу Ойло Союзное. Только что его не было, и вот он уже сидит между Гариком и Валей и наливают себе из Жориного графинчика. Глаза у него по обыкновению воспалены и бегают, и по обыкновению идет он красными пятнами и шелушится.

Как всегда, был он расpiraем новостями и слухами, которые поначалу казались важными и верными, но, будучи выпущены на вольный воздух, тут же портились и оборачивались враньем и хвастовством. Разговаривать стало невозможно, и мы с горя принялись слушать.

Для начала он сообщил, что по поводу Банной у него есть достовернейшие слухи прямо оттуда. (Толстый указательный палец уставляется в потолок.) Валя правильно говорит: сейчас все дела переводят на машины, потому что коррупция всех заела и никому верить нельзя. Кадровую машину уже запустили, и она выдала указание снять всех директоров издательств и всех главных редакторов в Москве. Он, Петенька Скоробогатов, поэтому подождет подписывать два договора, которые ему давеча прислали. Почему? А потому, что смысла нет. Все равно будут назначены новые директора и новые главные, и договора будут пересматривать...

- Вы меня не перебивайте, потому что завтра я уезжаю в Замбию, мне еще прививки надо делать, а вы меня все время перебиваете... Я вам насчет Банной хочу объяснить. Там машина - особенная. Она показывает талант. В абсолютных единицах. Сашка Толоконников, знаете, что учинил? Подсунул им в машину вместо своей галиматии пять страниц из "Тихого дона"! Машину, конечно, к едрене фене зашкалило, на такой уровень, сами понимаете, никто у них там не рассчитывал, ну и теперь Сашку на ковер. За поступок, недостойный советского писателя... Да Сашка - что! Сама Ираида с одра поднялась и черновики свои туда потащила. Она-то думала, что машина ее подтвердит и восславит, а машина ей - бац! - Ноль целых хрен десятых! Так она их всех там зонтиком, зонтиком, что ты! Вы тут сидите, ничего не знаете, а вчера я туда сунулся, на Банную, а там оцепление, конная милиция... Михеич трясется, сам не рад, что все это затеял, ему же тоже туда идти... Я ему говорю: "Михеич, говорю, ну что ты боишься? Хочешь, говорю, мои черновики?"..

Да, вот он у нас какой, Петенька Скоробогатов, Ойло наше Союзное. Я отхлебнул пива и стал размышлять о том, что ничего на свете придумать нельзя. Придуманно уже все. Я вспомнил, как лет пятнадцать назад покойный Анатолий Ефимович однажды разоткровенничался и рассказал мне замысел своей новой комедии. Дело у него там происходило в писательском доме творчества, и вот какой-то изобретатель привлекает туда свой фантастический

аппарат... Как же он его называл? Ужасно неуклюже, помнится... Да! "Изпитал"! "Измеритель писательского таланта". Писатели сначала по глупости своей радуются - наконец-то все узнают, что Иванов дерьмо, а я гений. Но потом, когда машина стала дарить их объективной истиной... В общем, машину они, кажется, разнесли по винтикам, а на изобретателя сообщая написали донос со всеми вытекающими последствиями... И как же был огорчен Анатолий Ефимович, когда я, извиняясь и оправдываясь, дал ему прочесть "Мензур зоили" Акутагавы, написанную еще в шестнадцатом году и изданную у нас на русском языке в середине тридцатых! Ничего нельзя придумать. Все, что ты придумываешь, либо было придумано до тебя, либо происходит на самом деле.

Я стукнул кулаком по столу и, глядя Петеньке Скоробогатову прямо в свинячьи его глазки, процитировал на весь зал:

- "С тех пор, как изобрели эту штуку, всем этим писателям и художникам, которые торгуют собачьим мясом, а называют его бараниной, - всем им теперь крышка!"

После чего встал и направился в вестибюль. Надо было все-таки позвонить и узнать, как там дела у Кости Кудинова, поэта, не загнулся ли он. А то я тут разговоры разговариваю с Петенькой Скоробогатовым, с Ойлом моим Союзным, а Костя между тем, может быть, концы отдает. Несправедливо.

Трубку на Костиной квартире взяла его жена. Голос у нее был ничего себе, довольно бодрый. Я представился и спросил:

- Ну, как там Костя вообще?

- Ой, как хорошо, что вы позвонили, Феликс Александрович! Я только что от него, только-только вошла... Феликс Александрович, он очень, очень просит, чтобы вы к нему зашли!

- Обязательно, - сказал я, - а как он вообще?

- Да все обошлось, слава богу. Значит, вы зайдете?

- Вообще-то... - промямлил я. - Завтра, пожалуй, в это время...

- Нет! Нет, Феликс Александрович, он просил - непременно сегодня! Он так мне и сказал: позвонит Феликс Александрович, и ты ему скажи, чтобы он обязательно сегодня! Что очень срочно, важно очень...

- Вообще-то ладно... - сказал я, и мы распрощались.

Никогда не надо делать добрые дела, думал я, возвращаясь в ресторан. Стоит только начать, и конца им не будет. Причем, обратите внимание: ни слова благодарности. Целый день мотаюсь по Москве из-за этого симулянта, одного страха сколько натерпелся, и вечером - пожалуйста, опять все сначала, тащись куда-то как верблюд и ни слова благодарности...

Гарика за столом уже не было, он ушел на свой семинар, а на его месте сидел Петенькин приятель. В лицо я его знаю, несколько раз мне его представляли, но как его зовут - я не помню, и какое он имеет отношение к литературе - представления не имею. По-моему, он целый день торчит в нашей бильярдной, вот и все его отношения с советской литературой.

И еще, пока меня не было, появился за столом друг мой хороший из соседнего подъезда Слава Крутойарский, тощий, темнолицый, длинноволосый, облитый искусственным хромом и склонный к теоретизированию.

- Что такое критика? - спрашивал он Жору Наумова, уже снявшего и повесившего на спинку стула свой мохнатый пиджак. - Причем я говорю не об этой критике, что у нас сейчас, ты понимаешь меня?

Слава всегда, через каждые две фразы осведомлялся у собеседника, понимает ли тот его.

Жора важно кивнул в знак того, что да, понимает; и задумчиво кивнул Валя Демченко; и я на всякий случай кивнул, усаживаясь; и дружно закивали Петенька и его приятель, да так энергично, что привлекли общее внимание.

- Критика - это наука, - продолжал Слава, глядя на Жору в упор. - Как связать, соотнести истерику творца с потребностями общества, ты понимаешь меня? Выявить соотношение между тяжкими мучениями творца и повседневной жизнью социума - вот есть задача критики. Ты меня понимаешь?

Мысль эта показалась социуму настолько здоровой и интересной, что все принялись требовать друг у друга карандаш и бумагу. Чтобы записать. Ни карандаша, ни бумаги ни у кого не оказалось, подозвали Аленьку, выключили у нее огрызок карандаша и листочек из блокнотика, и Петенька потребовал, чтобы Слава формулировку свою повторил. Слава честно попытался повторить и не сумел. Жора не сумел и только все запутал, приплел какую-то квинтэссенцию, и пока они галдели, перебивая друг друга, я подумал, что

как не определяя критику, пользы от нее никакой, вреда же от нее не оберешься. Никакой не квинтэссенцией истерики творца занимается наша критика, а занимается она нивелировкой литературы с целью сводить с писателями личные и вкусовые счёты. Вот так.

Я допил свое пиво и принялся доедать остывший бифштекс. Между тем, терминологический спор о критике естественным образом переключился на гонорарную политику.

Сам я на гонорарную политику смотрю просто: чем больше, тем лучше, все писательские разговоры о материальном стимулировании гроша ломаного не стоят. Вот это Ойло Союзное орет все время, что, дескать, если бы ему платили, как Алексею, он бы писал как Лев. Врет он, халтурщик. Ему сколько не плати, все равно будет писать дерьмо. Дай ему хоть пятьсот за лист, хоть семьсот, все равно он будет долдонить: хорошо учиться, дети, это очень хорошо, а плохо учиться, бяки, это никуда не годиться, и нельзя маленьких обижать. И будет он все равно благополучно издаваться, потому что любой детской редакции занаряжено, скажем, тридцать процентов издательской площади под литературу о школьниках, а достанет ли на эти тридцать процентов хороших писателей - это уже вопрос особый. Подразумевается, что достанет. А вот Вале Демченко плати двести, плати сто, все равно он будет писать хорошо, не станет он писать хуже, оттого что ему платят хуже, хотя никакие площади под его критический урбанизм не занаряжены, а рецензенты кидаются на него, как собаки...

Тут меня тронули за плечо, и, обернувшись, я увидел Лидию Николаевну, дежурного администратора. Сухо она сообщила мне, что ищет меня уже целый час, что звонил из больницы Константин Ильич Кудинов и просил меня немедленно к нему приехать. Не знаю, что ей там наплел этот симулянт, но она была дьявольски неприветлива. По-моему, она забрала себе в голову, будто я обещался быть у страждущего друга, а сам ударился в загул, предавши всех и вся. Опять виноват. В чем спрашивается?

Я отдал Славке деньги, чтобы расплатился он за меня, и направился по ковровой дорожке в вестибюль.

Ярко освещенный зал наш был уже полон, ни одного свободного места не оставалось, кое-где столики были сдвинуты под большую компанию, табачный дым в несколько слоев стлался над головами, сверкала прозрачная влага во вздымаемых чарах, стучал множественно металл о стекло и фаянс, раздавались заверения в дружбе, и уже в дальнем углу у фальшиво раскаленного камина некто седовласый в роскошно-мохнатой водолазке стихи возглашал диаконовским рыком, а в другом углу компания лейб-гвардейцев стояла навтыжку, поднявши наполненные фужеры на уровень груди, - выслушивала тост, выражающий самые крайние упования, сожалея, вероятно, лишь о том, что нельзя будет, как при прежнем директоре клуба, по опустошении фужеров разом ахнуть их об пол и придавить осколки каблуком; и уже двигался от столика к столику приветливо смеющийся, не очень известный читателям, но зато здесь почти всеми любимый Шура Пеклеванный, похлопывал сидящих по спинам, склонялся над женскими ручками и все отклонял и отклонял предложения присесть, потому что двигался к столику вполне определенному: Шура всегда абсолютно точно знал, к какому столику надлежит подсесть сегодня; и уже с шумом, громко переговариваясь, спускалась с антресолей по деревянной лестнице в зал манипула критиков и литературоведов, у которых только кончилось заседание, растекаясь, спустившись, между столиками, здоровалась, подсаживалась, прощалась; а посреди этого коловращения, в самом центре зала, толпа молодых напористо угощала главного редактора периферийного журнала, квадратного, даже кубического восточного человека в тюбетейке и стандартном пиджаке, усеянном по лацканам непонятными значками... Прекрасная жизнь была ключом, а мне надо было опять тащиться в чертову даль, и я с унынием думал о том, что еще может выкинуть тот, кто распоряжается моей судьбой...

Мне повезло - я сразу поймал такси, и через полчаса я отыскал в Бирюлеве больницу. Когда я вошел в палату, Костя сидел на койке, скрестивши ноги по-турецки, и с отвращением выскребал ложкой с тарелки остатки манной каши. Был он весь в больничном, клеймен был больничными клеймами, но в остальном выглядел неплохо. Конечно, румяным крепышом я бы его сейчас его не назвал, морда у него для этого была слишком бледновата, но и от умирающего в нем теперь уже ничего не осталось, хотя подбородок и был измазан манной кашей.

Палата оказалась на шесть коек, и у окна кто-то лежал с капельницей, а больше в палате никого не было, все ушли смотреть хоккей.

Увидев меня, Костя живо вскочил и так рьяно ко мне бросился, что я было ужаснулся: уж не хочет ли он меня обнять. Однако он ограничился пожатием и сердечным трясением руки моей. Он пожимал и тряс мою руку и говорил при этом, как заведенный, почему-то все оглядываясь на тело с капельницей. Он не давал мне сказать ни слова. Он рассказывал мне, как его сначала рвало, а потом несло, как ему промывали сначала желудок, а потом кишечник, как его кололи, как его массировали и как ему давали кислород. И все время при этом он оглядывался и, наступая мне на ноги, оттеснял меня к двери.

- Да что ты пихаешься? - сказал я, наконец, уже в коридоре.

- Пойдем присядем, - пригласил он. - Вон там, скамеечка под пальмой.

Мы сели. В коридоре было совершенно пусто, только вдали дежурная сестра тихонько звякала пузырьками, а Костя все еще продолжал говорить, хотя уже и с меньшим возбуждением. Его неистовую радость при встрече со мной я отнес за счет эйфории от чувства благодарности и подумал, помнится: "Надо же, животное - а ведь чувствует!". И сейчас, ворвавшись в первую паузу, я осведомился:

- Что, помогло, значит?

- Что именно? - спросил он быстро.

- Ну, этот твой... Мафусаил...

- Да! - сдавленным от восторга голосом воскликнул он, снова хватая меня за руку. - Да! Если бы не это... А тут, понимаешь, сразу промывание желудка, под давлением, представляешь? Клизму такую засадили, вредители! Знаешь, сегодня я только понял, какая это страшная пытка у инквизиторов была, когда воду закачивают... Верить, у меня глаза на лоб полезли, в пору к окулисту просится!..

И он пустился по второму разу. При этом он острил - иногда довольно удачно, вообще все пытался изобразить в юмористическом плане, но чувствовалась за этим юмором нездоровая натуга, и очень скоро мне пришлось в голову, что никакая это не эйфория от благодарности, а бурлит это в нем, наверное, и изливается сейчас наружу пережитый ужас смерти, и я совсем уже было вознамерился успокоительно похлопать его по колену, как вдруг он оборвал себя и спросил почти шепотом:

- Ты что так смотришь?

- Как? - я растерялся. - Как я смотрю?

Взгляд его зигзагом пролетел по моему лицу и затем ускользнул куда-то во тьму за пальмой.

- Нет, никак... - уклонился он и снова стал смотреть на меня.

- А ты, я вижу, вдетый сегодня, а? Поддал, а?

- Было дело, - соврал я и, не удержавшись, добавил: - Если бы не ты, я бы и сейчас там сидел с удовольствием...

- Ну, ничего! - произнес он, делая легкомысленный жест. - Завтра-послезавтра они меня отсюда выпихнут, и мы с тобой еще посидим. Я тебе, знаешь, какого коньячку выставлю? Мне прислали с Кавказа...

И он стал рассказывать, какой коньячок ему прислали с Кавказа. Я его не слушал. Мне вдруг стало тошно. Эти стены белые, этот запах - то ли карболки, то ли смерти, белый халат сестры, маячащий вдали, опустошенные капельницы, выставленные у дверей палат... Больница, тоска, полоса отчуждения... Да какого черта я здесь сижу? Не я же отравился, в конце концов!

- Слушай, - сказал я решительно. - Ты меня извини, но у меня, понимаешь, дочка должна прийти сегодня...

- Да-да, конечно! - воскликнул он. - Иди! Спасибо тебе большое, что пришел...

Он встал. Я тоже встал - в полной уже растерянности. Некоторое время мы молчали, глядя друг другу в глаза. Я недоумевал, потому что никак не мог понять: неужели он с такой настойчивостью, через жену, через администратора, требовал меня сюда только для того, чтобы дважды рассказать во всех подробностях, как ему промывали желудок и кишечник? Костя, казалось мне, тоже почему-то пришел в смятение. Я видел это по его глазам. И вдруг он спросил - опять же полупшепотом:

- Ты чего?

Это был совершенно непонятный вопрос. И я сказал осторожно:

- Да нет, ничего. Сейчас пойду.

- Ну, иди, - пробормотал Костя. - Спасибо тебе...

Он пробормотал это тоже осторожно и как-то неуверенно, словно ждал от меня чего-то.

- Ты мне больше ничего не хочешь сказать? - спросил я.

- Насчет чего? - Спросил Костя совсем уже тихо.

- А я не знаю - насчет чего! - сказал я, не в силах далее сдерживать раздражение. - Я не знаю, зачем ты меня выдернул из клуба. Мне сказали: срочное дело, необходимо сегодня же, немедленно... Какое дело? Что тебе необходимо?

- Кто сказал? - спросил Костя и глаза его снова заметались.

- Жена твоя сказала... Лидия Николаевна сказала...

И тут выяснилось, что его не так поняли. И жена его не так поняла, и Лидия Николаевна поняла его совсем не так, и вовсе он не требовал, чтобы сегодня же, немедленно, и про срочное дело он никому ничего не говорил... Он явно врал, это было видно невооруженным глазом. Но зачем он врал и что, собственно, было на самом деле, оставалось мне решительно непонятным.

- Ладно, - сказал я, махнув рукой. - Не поняли, так не поняли.

Выздоровел, и слава богу. А я, пожалуй, пойду.

Я двинулся к выходу, а он семенил рядом, то хватая меня за руку, то сжимая мне плечо, и все благодарил, и все извинялся, и все заглядывал мне в глаза, а на лестничной площадке, рядом с телефоном-автоматом, произошло нечто совсем уж несообразное. Он вдруг прервал свою бессвязицу, судорожно вцепился мне в грудь свитера, прижал меня спиной к стене и, брызгаясь, прошипел мне в лицо:

- Ты запомни, Сорокин! Не было ничего, понял?

Это было так неожиданно и даже страшно, что я испытал приступ давешней паники, когда я удирал от этого вурдалака - Ивана Давыдовича Мартинсона.

- Постой, да ты что? - пробормотал я, пытаюсь оторвать от себя его руки, неожиданно цепкие и словно бы заостренвшие. - Да пошел ты к черту, обалдел, что ли? - заорал я в полный голос, оторвал, наконец, от себя этого бледного паука и, с трудом удерживая его на расстоянии, сказал: - Да опомнись ты, чучело! чего тебя разбирает?

Я был гораздо сильнее его и понял, что удержать его могу, а в случае чего могу и вовсе скрутить, так что приступ первой паники у меня миновал, и остался лишь брезгливый страх, не за шкуру свою страх, а страх неловкости, страх дурацкого положения - не дай бог, кто-нибудь увидит, как мы топчемся по кафелю, сипло дыша друг другу в лицо...

Некоторое время он еще трясся и брызгался, повторяя: "Не было ничего, понял? Не было!..", а потом вдруг обмяк и принялся плаксиво объяснять, что накладка вышла, институт секретный, про него ни я, ни даже он сам ведать не должны, не нашего это ума дело, что могут выйти большие неприятности, что ему уже сделали замечание, и если я теперь хоть слово где-нибудь, хоть намекну даже только...

Я отпустил его. Он растирал, морщась, покрасневшие свои запястья и все бубнил и бубнил со слезой, и все одно и то же, и даже теми же словами, и ясно было, что он крайне деморализован и опять все врет - от первого до последнего слова. И опять я не понимал, зачем он врет и что было на самом деле. Понимал только, что какая-то накладка и в самом деле произошла: там, у лифта, Костя, ужаснувшись смерти, и в самом деле сболтнул мне что-то непопущенное... Хотя откуда ему, рифмоплету Кудинову, специалисту по юбилейным и праздничным виршам, знать что либо непопущенное? Разве что страшный Мартинсон у себя в нужнике за скелетами тайно гонит табуретовку, а Костя ее тайно распространяет? Нет, ничего я к нему сейчас не испытывал, кроме брезгливости и острого желания оказаться подальше.

- Ну, хорошо, хорошо, - произнес я как можно спокойнее. - Ну, чего ты дергаешься? Ну, какое мне дело до всего этого, сам подумай... Ну, не было, так не было. Что я - спорю?

Он начал свои объяснения по третьему разу, а я отодвинул его с дороги без всякой жалости и пошел спускаться по лестнице с наивозможной для меня поспешностью. Ноги у меня тряслись, и в правом колене стреляло, и все время хотелось сплунуть. И я не обернулся, когда сверху вслед мне донесся шипящий крик: "О себе подумай, Сорокин! Серьезно тебе говорю!". Если отвлечься от интонации, это был дельный совет. И подумать только, если бы

эта скотина Леня Шибзд не позвонил мне, ничего бы этого не было... Да, руководитель моей судьбы хорошо поработал сегодня, ничего не скажешь... Нет, ребята, домой, домой, к пенатам, к лекарствам моим и к синей папке!

В гардеробе, затягивая "молнию" на куртке, я заметил в глубине зеркала нечто знакомое. Прямо за моей спиной сидело на скамье черное пальто в серую клетку. Я повернулся и, продолжая застегиваться, пригляделся к нему. Это был тот самый человек из метро - рыжая борода, очки в блестящей металлической оправе, клетчатое пальто-перевертыш, - сидел себе одиноко на длинной белой скамье в почти пустом уже вестибюле больницы в Бирюлеве и читал какую-то книжку.

3

Спал я скверно, душили меня вязкие кошмары, будто читаю я какой-то японский текст, и все слова как будто знакомые, но никак не складываются они во что-нибудь осмысленное, и это мучительно, потому что необходимо, совершенно необходимо доказать, что я не забыл свою специальность, и временами я наполовину просыпался и с облегчением сознавал, что это всего лишь сон, и пытался расшифровать этот текст в полусне, и снова проваливался в уныние и тоску бессилия...

Проснувшись окончательно, никакого облегчения я не ощутил. Я лежал в темной комнате и смотрел на потолок с квадратным пятном света от прожектора, освещающего платную стоянку внизу под домом, слушал шумы ранних машин на шоссе и с тоской думал о том, что вот такие длинные унылые кошмары принялись за меня совсем недавно, всего два или три года назад, а раньше снились больше Амуры да Венеры. Видимо, это уже наваливалась на меня настоящая старость, не временные провалы в апатию, а новое, стационарное состояние, из которого уже не будет мне возврата.

Ныло правое колено, ныло под ложечкой, ныло левое предплечье, все у меня ныло, и оттого еще больше было жалко себя. Во время таких вот приступов предрассветного упадка сил, которые случались со мной теперь все чаще и чаще, я с неизбежностью начинал думать о бесперспективности своей: не было впереди более ничего, на все оставшиеся годы не было впереди ничего такого, ради чего стоило бы превозмогать себя и вставать, тащиться в ванную и воевать с неисправным смесителем, затем лезть под душ уже без всякой надежды обрести хотя бы подобие былой бодрости, затем приниматься за завтрак... И мало того, что противно было думать о еде: раньше после еды ожидала меня сигарета, о которой я начинал думать, едва продрав глаза, а теперь вот и этого у меня нет...

Ничего у меня теперь нет. Ну, напишу я этот сценарий, ну, примут его, и влезет в мою жизнь молодой, энергичный и непременно глупый режиссер и станет поучительно и в тоже время с наглостью поучать меня, что кино имеет свой язык, что в кино главное - образы, а не слова, и непременно станет он щеголять доморощенными афоризмами вроде: "Ни кадра на родной земле" или "Сойдет за мировоззрение"... Какое мне дело до него, до его мелких карьерных хлопот, когда мне наперед известно, что фильм получится дерьмовый и что на студийном просмотре я буду мучительно бороться с желанием встать и объявить: снимите мое имя с титров...

И дурак я, что этим занимаюсь, давно уже знаю, что заниматься этим мне не следует, но, видно, как был я изначально торговцем псиной, так им и остался, и никогда уже не стану никем другим, напиши я хоть сто "Современных сказок", потому что откуда мне знать: может быть, и синяя папка, тихая моя гордость, непонятная надежда моя, - тоже никакая не баранина, а та же псина, только с другой живодерни...

Ну, ладно, предположим даже, что это баранина, парная, первый сорт. Ну и что? Никогда при жизни моей не будет это опубликовано, потому что не вижу я на своем горизонте ни единого издателя, которому можно было бы втолковать, что видения мои являют ценность хотя бы еще для десятка человек в мире, кроме меня самого. После же смерти моей...

Да, после смерти автора у нас зачастую публикуют довольно странные его произведения, словно смерть очищает их от зыбких двусмысленностей, ненужных аллюзий и коварных подтекстов. Будто неуправляемые ассоциации умирают вместе с автором. Может быть, может быть. Но мне-то что до этого?

Я уже давно не пылкий юноша, уже давно миновали времена, когда я каждым новым сочинением своим мыслил осчастливить или, по крайности, просветить человечество. Я давным-давно перестал понимать, зачем я пишу. Славы мне хватает той, какая у меня есть, как бы сомнительна она не была, эта моя слава. Деньги добывать проще халтурой, чем честным писательским трудом. А так называемых радостей творчества я так ни разу в жизни и не удостоился. Что же за всем этим остается? Читатель? Но ведь я ничего о нем не знаю. Это просто очень много незнакомых и совершенно посторонних людей? Я ведь прекрасно сознаю: исчезни я сейчас, и никто из них этого бы не заметил. Более того, не было бы меня вовсе или останься я штабным переводчиком, тоже ничего, ну, ничегошеньки в их жизни бы не изменилось ни к лучшему, ни к худшему.

Да что там Сорокин Ф.А.? Вот сейчас утро. Кто сейчас в десятиллионной Москве, проснувшись, вспомнил о Толстом эль эн? Кроме разве школьников, не приготовивших урока по "Войне и миру"... Потрясатель душ. Владыка умов. Зеркало русской революции. Может, и побежал он из Ясной Поляны потому именно, что пришла ему к концу жизни вот эта такая простенькая и такая мертвящая мысль.

А ведь он был верующий человек, подумал я вдруг. Ему было легче, гораздо легче. Мы-то знаем твердо: нет ничего до и нет ничего после. Привычная тоска овладела мною. Между двумя ничто проскакивает слабенькая искра, вот и все наше существование. И нет ни наград нам, ни возмездий в предстоящем ничто, и нет никакой надежды, что искорка эта когда-то и где-то проскочит снова. И в отчаянии мы придумываем искорке смысл, мы втолковываем друг другу, что искорка искорке рознь, что одни действительно угасают бесследно, а другие зажигают гигантские пожары идей и деяний, и первые, следовательно, заслуживают только презрительной жалости, а другие есть пример для всяческого подражания, если хочешь ты, чтобы жизнь твоя имела смысл.

И так велика и мощна эйфория молодости, что простенькая приманка эта действует безотказно на каждого юнца, если он вообще задумывается над такими предметами, и только перевалив через некую вершину, пустившись неудержимо под уклон, человек начинает понимать, что все это - лишь слова, бессмысленные слова поддержки и утешения, с которыми обращаются к соседям, потерявшим почву под ногами. А в действительности, построил ты единую теорию поля или построил дачу из ворованного материала, - к делу это не относится, ибо есть лишь ничто до и ничто после, и жизнь твоя имеет смысл лишь до тех пор, пока ты не осознал это до конца...

Склонность к такого рода мрачным логическим умопостроениям появилась у меня тоже сравнительно недавно. И есть она, по-моему, предвестник если на самого старческого маразма, то, во всяком случае, старческой импотенции. В широком смысле этого слова, разумеется. Сначала такие приступы меня даже пугали: я поспешно прибегал к испытанному средству от всех скорбей, душевных и физических, опрокидывал стакан спиртного, и спустя несколько минут привычный образ искры, возжигающей пламень, - пусть даже небольшой, местного значения, - вновь обретал для меня убедительность неколебимого социального постулата. Затем, когда такие погружения в пучину вселенской тоски стали привычными, а от спиртного меня отлучили, я перестал пугаться и правильно сделал, ибо пучина тоски, как выяснилось, имела дно, оттолкнувшись от коего я неминуемо всплывал на поверхность.

Тут все дело было в том, что мрачная логика пучины годилась только для абстрактного мира деяний общечеловеческих, в то время как каждая конкретная жизнь состоит вовсе не из деяний, к которым только и применимо понятие смысла, а из горестей и радостей, больших и малых, сиюминутных и протяженных, чисто личных и связанных с социальными катаклизмами. И как бы много горестей ни наваливалось на человека единовременно, всегда у него в запасе остается что-нибудь для согрева души.

Внуки у него остаются, близнецы, драчуны-бандиты чумазые, Петька и Сашка, и ни с чем не сравнимое умиленное удовольствие доставлять им радость. Дочь у него остается, Катька-неудачница, перед которой постоянно чувствуешь вину, а за что - непонятно, наверное, за то, что она твоя, плоть от плоти, в тебя пошла и характером, и судьбой. И бутылочка "пльзеньского" в клубе... Банально, я понимаю, - "пльзеньское", так ведь и все радости банальны! А безответственный, для души, треп в клубе, это что, не банально? А беспричинный восторг, когда летом выйдешь в одних трусах

спозаранку в лоджию, и синее небо, и пустынное еще шоссе, и розовые стены домов напротив, и уже длинные синеватые тени тянутся через пустырь, и воробьи галдят в пышно-зеленых зарослях на пустыре? Тоже банально, однако никогда не надоедает.

Бывают, конечно, деятели, для которых все радости и горести воплощаются именно в деяниях. Их хлебом не корми, а дай порох открыть, валдайские горы походом форсировать или какое другое кровопролитие совершить. Ну и пусть их. А мы - люди маленькие. С нас и воробьев по утрам предовольно. И вот что: не забыть бы сегодня хоть коробку шоколада для близнецов купить. Или игрушки...

Почувствовав себя на поверхности, я, не вставая, сделал несколько физкультурных движений (более для проформы), кряхтя, поднялся и нашарил ногами тапочки. Процедура мне предстояла такая: застелить постель, распахнуть настежь дверь в лоджию и подвигнуться на свершение утреннего туалета. Однако порядок был нарушен в самом начале. Едва я перебросил подушку в кресло, как задребезжал телефон. Я взглянул на часы, чтобы определить, кто звонит. Было семь тридцать четыре, и, значит, звонил Леня Шибзд.

- Здорово, - произнес он низким, подпольно-заговорщицким голосом. - Как дела?

- Охайо, - отозвался я. - Боцубоцу-са. Аригато.

- А на каком-нибудь человеческом языке можешь? - спросил он.

- Могу, - сказал я с готовностью. - Эврисинг из окэй.

- Так бы сразу и сказал. - Он помолчал. - Ну, а чем у тебя все кончилось вчера?

- Ты о чем? - спросил я, насторожившись, потому что ни с того ни с сего мне вдруг вспомнился вчерашний человек в клетчатом пальто-перевертыше.

- Ну, эти твои дела... Куда ты вчера там ездил?

Я, наконец, сообразил, что он спрашивает всего-навсего о визите на Банную.

- М-мать... - сказал я. - Опять я папку где-то забыл!

Я стал лихорадочно вспоминать, где я мог забыть папку с бессмертной пьесой о Корягиных, а он все бубнил. Он бубнил о том, что есть слух, будто кто из писателей женат более трех раз, того снимают с очереди на квартиру в новом писательском доме, и будут предоставлять только освобождающуюся площадь. Леню Шибзда это задевало потому, что он был женат уже по четвертому разу.

- В ресторане я ее забыл! - проговорил я с облегчением.

- Кого? - спросил он, охотно прервавшись.

- Папку!

- Какую?

- Канцелярскую. Со шнурочками.

- А внутри? - напирал шибзд.

- Слушай, - сказал я. - Отстань, а? Я только что встал, постель еще не застелена...

- У меня тоже... Так ты был вчера на Банной?

- Не был я на Банной! Не был!

- А где ты тогда был?

Помыслить было страшно - рассказать Шибзду о вчерашних моих похождениях. И не только потому, что вдруг уставились на меня из вчерашнего дня двустовичьи глаза Ивана Давыдовича и донеслось ядовито-предостерегающее шипение Кости Кудинова, поэта, и не потому даже, что ощущал я в этом всем какую-то пакость, мерзость какую-то. Проще, много проще! Ведь Шибзд - это человек, которого не интересуется что. Его всегда интересуется почему. Он душу из меня живую вынет, требуя разъяснений, а вынув, затолкает ее обратно как попало, излагая свои собственные чугунные версии, каждая из коих, как нарочно, объясняет один факт и противоречит всем прочим фактам...

- Леня, - сказал я решительно. - Извини, в дверь звонят. Это я водопроводчика вызвал.

С тем, не слушая протестов, я повесил трубку.

Вообще-то я люблю Леню Барина. Более того, я его уважаю. И прозвище такое я дал ему не за сущность его, а за наружность: шибздик он - маленький, чернявенький, всегда чем-нибудь напуганный. Пишет он

мучительно, буквально по несколько слов в день, потому что вечно в себе сомневается и совершенно искренне исповедует эту бредовую идею хрестоматийного литературоведения о том, что существует якобы одно-единственное слово, точнее всех прочих выражающее заданную идею, и все дело только в том, чтобы постараться, напрячься, поднатужиться, не поленившись и это одно-единственное слово отыскать, и вот таким-то манером ты и создашь, наконец, что-нибудь достойное.

И никуда не денешься: литературный вкус у него великолепный, слабости любого художественного текста он вылавливает мгновенно, способность к литературному анализу у него прямо-таки редкостная, я таких критиков и среди наших профессионалов не знаю. И вот этот талант к анализу роковым образом оборачивается его неспособностью к синтезу, потому что сила писателя, на мой взгляд, не в том, чтобы уметь найти единственно верное слово, а в том, чтобы отбросить все заведомо неверные. А Леня, бедняга, сидит и день за днем мучительно, до помутнения в мозгах, взвешивает на внутренних весах своих, как будет точнее сказать: "Она тронула его руку" или "Она притронулась к его руке"... и в отчаянии он звонит за советом Вале, и жестокий Валя Демченко, не теряя ни секунды, отвечает ему знаменитым аверченковским: "Она схватила ему за руку и неоднократно спросила, где ты девал деньги...". И тогда он в отчаянии звонит мне, а я тоже не сахар...

Но есть, есть между нами некое сродство! Я уверен, что прочитай я ему из своей синей папки, он понял бы меня так, как, может быть, никто другой на свете, не понял бы и не принял бы. Только читать ему из синей папки никак нельзя. Ведь он же болтун, он как худое ведро, в нем ничего не держится. Это же любимое занятие его: собирать сведения и затем распространять их кому попало и где попало, да еще и непременно с комментариями... При его великолепной памяти и с сумеречным его воображением... Нет, подумать страшно - читать ему из синей папки.

А вот он читал мне из своей повести, над которой тоже работает второй год, - про спринтера, гениального спортсмена и несчастного человека. Этот его герой бьет все рекорды на расстояниях до километра, все им восхищаются, все ему завидуют, но никто не знает, почему он эти рекорды бьет. А дело в том, что на тартановой дорожке немедленно просыпается в нем слепой первобытный ужас преследуемого животного. Каждый раз рвется он к финишу, забыв в себе все разумное, все человеческое, с одной только целью - во что бы то ни стало спасти жизнь, оторваться и уйти от настигающей его своры хищников, стремящихся догнать, завалить и сожрать заживо. И вот он получает призы, мировую известность, почести - и все за свою патологическую, атавистическую трусость, а человек он честный, и любит его славная девушка...

Мне нравятся такие повороты. Редакторам вот не нравятся, а мне нравятся. Это вам не бурный романчик между женатым начальником главка и замужним технологом на фоне кипящего металла и невыполнения плана по литью.

Размышляя о литературе, о сюжетах и о Шибзде Баринове, я уселся завтракать. Мною же придуманный ядовитый пример насчет бурного романчика вдруг занял мое воображение. Десятилетия проходят, исписываются тысячи и тысячи страниц, но ничего, кроме откровенной халтуры или, в лучшем случае, трогательной беспомощности, литература такого рода не демонстрирует.

И ведь вот что поразительно: сюжет-то ведь реально существует! Действительно, металл льется, планы невыполняются, и на фоне всего этого и даже в связи со всем этим женатый начальник главка действительно встречается с замужним технологом, и начинается между ними конфликт, который переходит в бурный романчик, и возникают жуткие ситуации, зреют и лопаются кошмарные нравственно-организационные нарывы, и все это вплоть до парткома...

Все это действительно бывает в жизни, и даже частенько бывает, и все это, наверное, достойно отображения никак не меньше, нежели бурный романчик бездельника-дворянина с провинциальной барышней, вплоть до дуэли. Но получается лажа.

И всегда получалась лажа, и между прочим, не только у нашего брата - советского писателя. Вон и у Хемингуэя высмеян бедняга халтурщик, который пишет роман о забастовке на текстильной фабрике и тщится совместить проблемы профсоюзной работы со страстью к молодой еврейке-агитатору.

Замужний технолог, еврейка-агитатор... язык человеческий протестует против таких сочетаний, когда речь идет об отношениях между мужчиной и женщиной. "Молодая пешеход добежал до переход..."

У меня вот в "Товарищах офицерах" любовь протекает на фоне политико-воспитательной работы среди офицерского состава Н-ского танко-самоходного полка. И это ужасно. Я из-за этого собственную книгу боюсь перечитывать. Это же нужен какой-то особенный читатель - читать такие книги! И он у нас есть. То ли мы его выковали своими произведениями, то ли он как-то сам произрос - во всяком случае, на книжных прилавках ничего не залеживается.

Я пил кефир, стоя перед окном. Светало, и был мороз. Деревья и кустарники - все было белое. Гасли огни в доме напротив, спешили к автобусной остановке черные человечки по нерасчищенным тропинкам среди сугробов. Машины неслись, подфарники у некоторых были уже погашены.

Потому что нет в наше время любви, подумал вдруг я. Романчики есть, а любви нет. Некогда в наше время любить: автобусы переполнены, в магазинах очереди, ясли на другом конце города, нужно быть очень молодым и очень беззаботным человеком, чтобы оказаться способным на любовь. А любят сейчас только пожилые пары, которым удалось продержаться вместе четверть века, не потонуть в квартирном вопросе, не озвереть от мириад всеразъедающих мелких неудобств, полюбовно поделить между собой власть и обязанности. Вот как Валя Демченко со своей Сонечкой. Но такую любовь у нас не принято воспевать. И слава богу. Воспевать вообще ничего не надо. Костя Кудинов пакость воспевают. Или Ойло Союзное...

- Однако все это философия, а не пора ли за работу? - произнес я вслух.

И я стал мыть посуду. Я не выношу, когда у меня в мойке хоть одна грязная тарелка. Для нормальной работы необходимо, чтобы мойка была пуста и чиста. Особенно, когда речь идет о работе над сценариями или над статьями. Я люблю писать сценарии. Из всех видов литературной подценщины мне более всего по душе переводы и сценарии. Может быть, потому, что в обоих этих случаях мне не приходится взваливать на себя всю полноту ответственности.

Приятно все-таки сознавать, что за будущий фильм в конечном счете отвечает режиссер - человек, как правило, молодой, энергичный, до тонкости понимающий, что кино имеет свой язык и главное в кино - не слова, которые я сочиняю, а образы, которые изобретает он. А если что-нибудь не так, он махнет рукой и скажет беспечно: "А, сойдет за мировоззрение!" А что касается другого его афоризма - "Ни кадра на родной земле", - то пусть-ка он попробует отснять кадры танковой атаки где-нибудь на Елисейских полях! И фильм у него, в конце концов, получится. Это будет не Эйзенштейн и не Феллини, конечно, но смотреть его будут, и я сам посмотрю не без интереса, потому что и в самом деле интересно же, как у него получилась моя танковая атака.

(Я человек простой, я люблю, чтобы в кино - но только в кино! - была парочка штурмбанфюреров СС, чтобы огонь велся по возможности из всех видов стрелкового оружия и чтобы имела место хор-рошая танковая атака, желательно массированная... Киновкусы у меня самые примитивные, такие, что Валя Демченко называет их совокупность инфантильным милитаризмом.)

Я сел за машинку и писал, почти не прерываясь, два с лишним часа, пока не раздался снова телефонный звонок.

Солнце давно уже било в комнату, и было мне жарко, и был я в запале, и в телефонную трубку не сказал я, а рявкнул. Однако это оказался наш Федор Михеич, и мне, японисту, свято соблюдающему принцип "сяо", немедленно пришлось взять тоном ниже.

Слава богу, разговор пошел вовсе не о Банной. Михеич осведомился, известно ли мне о конфликте между Олегом Орешиним и Семеном Колесниченко. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы переключиться, а затем я сказал, что да, знаю я об этом конфликте, была у нас такая склока на приемной комиссии в прошлом месяце. Тогда Михеич сообщил, что Орешин подал на Колесниченко жалобу в секретариат и что он, Михеич, хотел бы знать мое, Сорокина, мнение по этому конфликту.

- Дурак он и склочник, этот Орешин, - ляпнул я, не сдержавшись, в который уже раз позабыв твердое свое решение никогда не вмешиваться, не впутываться и не вступаться.

Михеич сурово указал мне, что это не ответ, что от меня ждут не брани-ругани, что от меня ждут объективного мнения по конкретному делу.

Ну, какое объективное мнение могло быть у меня по этому делу? На прошлом заседании приемной комиссии этот Олег Орешин, холеный и гладкий мужчина лет пятидесяти, в отлично сшитом костюме, сверкая запонками, толстым колышком и золотым зубом, потребовал вдруг слова и провозгласил жалобу на прозаика Семена Колесниченко, который совершил злостный плагиат. У кого? Да у него, Олега Орешина, поэта-баснописца, члена приемной комиссии, лауреата специальной премии журнала "Станкостроитель". Он, Олег Орешин, два года назад опубликовал в упомянутом журнале сатирическую басню "Медвежий хлопоты". Каково же было его, Олега Орешина, изумление, когда буквально на днях в декабрьском номере журнала "Надежный транслятор" он прочитал повесть "Поезд надежды", переведенную с иврита, в точности повторяющую всю ситуацию, весь сюжет и всю расстановку действующих лиц его, Олега Орешина, басни "Медвежий хлопоты"! Пораженный, он предпринял самостоятельное расследование и установил, что упомянутый С.Колесниченко, произведя плагиат, написал повесть, а потом подсунул ее в редакцию журнала под видом перевода с иврита. С.Колесниченко при этом обманул редакцию, сказавши, что перевод повести прогрессивного израильского писателя имьярека осуществил якобы его прикованный к постели друг и т.д., и т.д., и т.п. Он, Олег Орешин, требует, чтобы его товарищи по приемной комиссии помогли ему и т.д., и т.д., и т.п.

Самым фантастическим в этой бредовой истории было то, что по меньшей мере треть приемной комиссии горячо приняла к сердцу жалобу О.Орешина и тут же стала с живостью предлагать меры одна другой жутче. Однако силы разума возобладали. Председатель наш, моментально сообразив, что волочь эту склоку на горбу придется лично ему, очень строго объявил: он лично понимает возмущение товарища Орешина, но дело это в компетенцию приемной комиссии никак не входит, и отвлекаться на него приемная комиссия никак не может.

Я, грешным делом, подумал тогда, что тем все и кончится. Но нет, видимо, пределов человеческой глупости. Не кончилось это дело. Впрочем, Михеич был прав: бранью-руганью, как и бесплодными сентенциями по поводу пределов глупости, здесь не обойдешься. Я подобрался и, тщательно взвешивая слова, высказался в том смысле, что аргументы Олега Орешина для меня неубедительны. Превращение басни в повесть, даже если таковое имело место, лежит, по моему мнению, за гранью понятия о плагиате. Мне, с другой стороны, бывалому переводчику, было бы очень интересно узнать, как это Колесниченко удалось выдать собственное произведение за перевод. На мой взгляд, это просто невозможно.

Вот это была речь не мальчика, но мужа. Михеич выслушал ее, не перебивая, поблагодарил и повесил трубку. О Банной так и не было вспомнено.

Я вылез из-за стола, открыл дверь в лоджию и постоял на пороге в лучах солнца. Я чувствовал себя опустошенным, усталым и убогаженным. Так или иначе, а сегодняшний урок был выполнен, и даже с походом. Теперь можно было с чистой совестью упрятать сценарий в стол, накрыть машинку и спуститься за газетами. Что я и сделал.

Кроме газет, пришло мне два письма. Одно официальное, из клуба, приглашали меня на концерт неизвестного мне барда, и я подумал, что приглашение это надо отдать Катьке - может быть, ей это будет интересно.

Второй конверт был самодельный, из плотной коричневой бумаги, клапан его был заклеен скотчем, адрес, с прибавлением "Лично, в собственные руки!" написали черной тушью, а вот обратного адреса не написали.

Я терпеть не могу писем без обратного адреса. Они приходят нечасто, но каждый раз содержат какую-нибудь пакость или неприятность, или источник дополнительных хлопот и беспокойств. С досадой я полез в стол за ножницами, но тут опять раздался телефонный звонок.

На этот раз звонила Зинаида Филипповна, она кротко напомнила мне, что очередное заседание приемной комиссии через десять дней, я же до сих пор не взял у нее книги для ознакомления. Я спросил, много ли народу предстоит обсудить. Оказалось: двух прозаиков, двух же драматургов, трех критиков и публицистов и одного поэта малых форм, всего же восьмерых. Я спросил, что это такое - поэт малых форм. Она ответила, что никто этого толком не знает, но именно с этим поэтом ожидается скандал. Я пообещал зайти на

днях.

Опять скандал. Вот бы о чем написать, подумал я. Типичное заседание приемной комиссии. Сначала, чтобы спихнуть с плеч долой, обсуждается дело какого-то бедолаги по секции научно-популярной литературы. Докладчик произносит негодующую речь против, при этом все время путает батисферу со стратосферой и батискаф с пироскафом. Комиссия слушает в молчаливом ужасе, некоторые украдкой крестятся, слышится: "Чур меня, чур!". Общий пафос докладчика: "Где же здесь литература?". Второй докладчик краток и честен: ни одной книжки претендента до конца прочитать не сумел, ничего не понял, инфузории-лепрозории, претендент - доктор наук, ну на кой ляд ему членство в союзе?.. Выступает председатель: космос, век НТФ (он имеет в виду НТР), нельзя забывать, что авторитет нашей организации... Высокая литература... Антон Павлович Чехов... Лев Толстой... Александр Сергеевич. Диван Диваныч... Претендента проваливают при тайном голосовании с одним-единственным "за".

Второй претендент - медик, хирург, прямая кишка, но влюблен в наше село. Докладчик с непроспанными глазами шумно восхищается этой любовью и пересказывает два блистательных сюжета из претендента. Едет мужик на подводе по лесу, и вдруг - тигр. (Рязанская область, село Мясное.) Мужик - бежать. Тигр - за ним. Мужик залез за ним по шею в прорубь, а тигр сел на краю и всю ночь над ним всхрапывал, а потом оказалось, что тигр бежал из зоопарка, но без людей не может, вот и привязался к мужику... Всеобщее восхищение, добродушный смех, одобрительные возгласы. Следует второй сюжет: мужик пришел к врачу с жалобой на внутреннюю болезнь, а врач попросил его принести анализы. Мужик же решил, что с него требуют взятку, и написал в прокуратуру. Однако оказался рак, врач его успешно оперирует, мужик спасен, но тут прямо в операционную приносят повестку из прокуратуры... Снова восхищение и одобрительные возгласы, один из лейб-гвардейцев плачет от смеха, уткнувшись лицом мне в плечо. Второй докладчик растроганным голосом читает из претендента описание сельской местности: восхищение и одобрение преобразуются в громовое сюсюканье и водопадные всхлипывания, после чего претендента опять-таки проваливают, но уже при трех "за". Все смущены. Лейб-гвардеец объясняет мне: "Ну, не знаю. Я как был "за", так и голосовал "за"...".

Потом принимаются за бывшего министра коммунального хозяйства одной южной республики, выпустившего в подарочном издании роскошный том - что-то вроде "Развития прачечного дела от царицы Тамары до наших дней".

Тут размышления мои вновь были прерваны телефонным звонком. Федор Михеич произнес озабоченно:

- Извини, Феликс Александрович, что я опять тебя отрываю... Ты как вчера - на Банной был?

- Да, - сказал я. - А как же... Все отвез в лучшем виде.

- Ну, спасибо. Тогда у меня все.

Федор Михеич повесил трубку, а я встал из кресла и пошел прямо в прихожую надевать башмаки. И только уже одевшись, обмотавшись шарфом и напялив шапку, перчатки уже натянув и даже взявшись уже за барабанчик замка, вспомнил я, слава богу, что подопытная-то рукопись моя осталась вчера в клубе... И если я сейчас заеду за нею в клуб...

Я вернулся в комнату, кряхтя, достал наугад какую-то папку потоньше из малого архива, что у меня под столом (черновики переводов, вторые экземпляры аннотаций на японские патенты, черновики рецензий и прочая макулатура), обвязал ее для прочности веревочкой, кое-как засунул в карман куртки коричневый конверт без обратного адреса (прочитать по дороге) и вышел вон.

Дом на Банной оказался серый, бетонный, пятиэтажный. Левое крыло его было обстроено лесами, леса же были забиты снегом и пусты. Средняя часть фасада выглядела достаточно свежо, а правое крыло впору было уже снова ремонтировать. Подъезд был один - посередине фасада. Дверной проем был широкий и, по замыслу архитекторов, должен был пропускать одновременно шесть потоков входящих и исходящих, однако, как водится, из шести входных секций функционировала лишь одна, прочие же были намертво заперты, а одна даже забита досками, кокетливо декорированными под палитру неряшливого живописца. И, как водится, справа и слева от дверного проема красовались разнокалиберные стеклянные вывески с названиями учреждений, так что вовсе не сразу обнаружил я скромную вывеску с серебряной надписью: "Институт

лингвистических исследований АН СССР".

Не без труда протиснувшись через функционирующую секцию, я некоторое время блуждал среди темных кулис в толпе таких же бедолаг, как я. Здесь было темно, тревожно, а под ногами намесили столько снега, что из опасения упасть мы все придерживались друг за друга.

Вырвавшись, наконец, на оперативный простор, я оказался перед широчайшей лестницей, которая возвела меня в огромный круглый зал высотой во все пять этажей. Середина этого зала была разгорожена на многочисленные деревянные клетушки, сверху, через решетчатую стеклянную крышу, просачивался серенький дневной свет, слева от меня стеклянный киоск торговал изопродукцией, а справа продавали жареные пирожки и бисквит с повидлом.

Куда идти дальше, я даже представить себе не мог, а когда попытался выяснить это у тех, с кем плечом к плечу прорывался через кулисы, оказалось, что все они пришли сюда за бисквитом - кроме одного старичка, которого послали за пирожками.

Старуха в киоске сказала, что работает здесь всего второй день. И лишь накрашенная дамочка без пальто и с разносной книгой под мышкой послала меня направо и вверх, и там, на первой лестничной площадке я обнаружил указатель.

Мне надо было на третий этаж, и я начал восхождение по железной винтовой лестнице, где опять было темно и тревожно, подошвы соскальзывали с неравновеликих ступенек, навстречу кто-то тяжело и страшно пыхтел, норовя столкнуть меня вниз, или с придушенным женским визгом дробно грохотал, поскользнувшись. А снизу вверх подпирало в спину чем-то твердым, неодушевленным, деревянным, судя по ощущению, и изрыгающим невнятную брань.

Впрочем, всему приходит конец. Я оказался на площадке третьего этажа, пыхтя, отдуваясь, размышляя, не принять ли нитроглицерин, и тут в последний раз меня саданули пониже спины и невнятный голос осведомился: "Ну, чего встал, стояло?", и мимо меня пронесли деревянную стремянку, да такой длины, что я глазам не поверил: как могли протащить такое по винтовой лестнице?

Положив под язык крупинку нитроглицерина, я огляделся. На площадку выходили, как в сказке, три двери: направо, налево и прямо. Судя по вывеске, мне надо было направо, и направо я пошел и за дверью обнаружил столик, а на столике - лампочку, а за лампочкой - старушку с вязаньем. Она взглянула на меня добродушно-вопросительно, и мы поговорили. Старушка была полностью в курсе. Писателям полагалось приходить в комнату номер такую-то, через конференц-зал, а до конференц-зала идти по этому вот коридору, никуда не сворачивая, да и сворачивать здесь особенно некуда, разве что в буфет, так буфет еще закрыт. Я поблагодарил и тронулся, а старушка сказала мне вслед: "Только там собрание...", и я, хоть и не понял ее, но на всякий случай обернулся и благодарно ей покивал.

Коридор. Нечасто встретишь теперь такие коридоры. Этот коридор был узкий, без окон, с таинственными зарешеченными отдушинами под потолком, с глухими железными дверями, возникающими то справа, то слева, выстланный скрипучими неровными досками, опасно подающимися под ногой. И не прямым был этот коридор, он шел классическим фортификационным зигзагом, причем каждый отрезок зигзага не превышал двадцати метров. Здесь все было рассчитано на тот случай, когда панцирной пехоте противника удалось сломить наше сопротивление на винтовой лестнице и она, пехота, опрокинув старушку с ее столиком, ворвалась сюда, еще не зная, какая страшная ловушка ей здесь уготована: из отдушин под потолком на нее изливаются потоки кипящего масла; распахнувшиеся железные двери ошметниваются копиями с иззубренными наконечниками шириной в ладонь; доски под ногами рушатся; и из-за каждого угла зигзага поражают ее в упор беспощадные стрелки... Я весь испариной покрылся, пока дошел до конца этого коридора.

Как и предсказала честная старуха, коридор вышел в конференц-зал. Но только здесь дошел до меня смысл ее последних слов. В конференц-зале действительно происходило какое-то собрание, скорее всего - общее, потому что яблоку было негде упасть от сидящего и стоящего народа. Я вынужден был остановиться на пороге. Дальше пути не было.

Сначала я не воспринял это собрание как помеху моим намерениям. Собрание как собрание, стол с зеленой скатертью, графин с водой, с трибуны кто-то что-то говорит, а по меньшей мере три сотни гавриков и гавриц при сем присутствуют (вместо того, чтобы двигать научно-технический прогресс). Привстав на цыпочки, я озираю окрестности поверх моря голов до тех пор, пока не обнаружил в дальнем от себя углу зала малоприметную дверь, над которой красовалось белое полотнище с черной надписью: "Писатели - сюда". Вот только тогда я начал осознавать размеры постигшей меня неудачи.

О том чтобы пробиться к этой двери через собрание, не могло быть и речи, я не бэнкэй, чтобы шагать по головам и по плечам в битком набитом храме, я этого не умею и не люблю. О том, чтобы гордо повернуться и уйти, тоже не могло быть речи, я уже зашел слишком далеко. Логически рассуждая, оставалось только одно: ждать, уповая на то, что нет собраний, которые длились бы вечно.

Придя к такому выводу, я сразу подумал о буфете. Где-то даже и пиво. Я поглядел на часы. Без десяти три было на моих, и если буфету вообще суждено было сегодня открыться, то скорее всего через десять минут. Десять минут можно было и перетерпеть. Я перенес тяжесть тела на одну ногу, уперся плечом в косяк и стал слушать.

Очень скоро я понял, что присутствую на товарищеском суде. Обвиняемый, некий Жуковицкий, взял манеру делать несчастными молодых сотрудниц своего отдела. Вначале это сходило ему с рук, но после третьего или четвертого случая терпение общественности лопнуло, преступления возопили к небесам, а жертвы возопили к местному. Обвиняемый, наглой красоты мужчина в сверкающей хромовой курточке, сидел, набычившись, на отдельном стуле слева от президиума и вид являл упорствующий и нераскаянный, хоть и покорный судьбе.

В общем, дело показалось мне пустяковым. Ясно было, что вот сейчас кончит болтать член месткома, затем вылезет на трибуну зав. отделом и распнет подсудимого на кресте общественного порицания, и тут же, без перехода, попросит суд о снисхождении, потому что в отделе у него одни девы и каждый сотрудник-мужчина на вес золота; потом председательствующий в краткой энергичной речи подведет черту, и все ринутся в буфет.

Ожидая этого неминуемого, как мне казалось, развития событий, я принялся разглядывать лица - любимое мое занятие на собраниях, совещаниях и семинарах. И уже через минуту, к изумлению своему, обнаружил в пятом ряду, прямо напротив президиума, шелушащуюся ряжку Ойла моего Союзного, Петеньки Скоробогатого, и унылый профиль его дружка - бильярдиста. Оба имели такой вид, словно сидят здесь с самого начала, прочно и по праву. Бильярдист сидел смирно и только лупал глазами на президиум: видно, зеленое сукно скатерти вызывало в нем приятные ассоциации. Ойло же Союзное был невероятно активен. Он поминутно поворачивался к соседке справа и что-то ей втолковывал, потрясая толстым указательным пальцем; потом всем корпусом устремлялся вперед, всовывая голову свою между головами соседей впереди и что-то втолковывал им, причем приподнятый толстый зад его совершал сложные эволюции; потом, словно бы вполне удовлетворенный понятливостью собеседников, откидывался на спинку своего стула, скрещивал руки на груди и, чуть повернув ухо, благосклонно выслушивал то, что принимались шептать ему соседи сзади.

С трибуны несло:

- ...и в такие дни, как наши, когда каждый из нас должен отдать все свои силы на развитие конкретных лингвистических исследований, на развитие и углубление наших связей со смежными областями науки, в такие дни особенно важно для нас укреплять и повышать трудовую дисциплину всех и каждого, морально-нравственный уровень каждого и всех, духовную чистоту, личную честность...

- И животноводство! - вскричал вдруг требовательно Петенька Скоробогатов, вскинув вперед и вверх вытянутую руку с указательным пальцем.

По аудитории пронесся невнятный гомон. На трибуне смешались.

- Безусловно... Это бесспорно... И животноводство тоже.. Но что касается конкретно товарища Жуковицкого, то мы не должны забывать, что он

наш товарищ...

Ай да Ойло Союзное! Нет, как хотите, а что-то человеческое, что-то такое с большой буквы в нем, безусловно, есть. Невзирая на его пороссячи, вечно непрспаные глазки. Невзирая на постоянный запах перегара, образующий как бы его собственную атмосферу. Невзирая на беспримерную бездарность и халтурность его сочинений для школьников. Невзирая на его обыкновение подсаживаться без приглашения и наливать без спросу... (Впрочем, тут я не прав. Конечно, Ойло, как правило, ходит без денег, потому что всегда в пропое. Но уж когда у него есть деньги!.. Подходи любой, ешь-пей до отвала и с собой уноси.) Он выдумщик, вот что его извиняет. Воплотитель в практику самых невозможных фантазий, какие бывают разве что в анекдотах.

Однажды, в Мурашах, в Доме Творчества, дурак Рогожин публично отчитал Ойло за повышение голоса в столовой, да еще вдобавок прочитал ему мораль о нравственном облике советского писателя. Ойло выслушал все это с подозрительным смирением, а наутро на обширном сугробе прямо перед крыльцом дома появилась надпись: "Рогожин, я вас люблю!". Надпись эта была сделана желтой брызчатой струей, достаточно горячей, судя по глубине проникновения в сугроб.

Теперь, значит, представьте себе такую картину. Мужская половина обитателей Мурашей корчится от хохота. Ойло с каменным лицом рассказывает среди них и приговаривает: "Это, знаете ли, уже безнравственно. Писатели, знаете ли, так не поступают...". Женская половина брезгливо морщится и требует немедленно перекопать и закопать эту гадость. Вдоль надписи, как хищник в зоопарке, бегают взад и вперед Рогожин и никого к ней не подпускает до прибытия следственных органов. Следственные органы не спешат, зато кто-то услужливо делает для Рогожина (и для себя, конечно) несколько фотоснимков: надпись, Рогожин на фоне надписи, просто Рогожин и снова надпись. Рогожин отбирает у него кассету и мчит в Москву. Сорок пять минут на электричке, пустяк.

С кассетой в одном кармане и с обширным заявлением на Петеньку - в другом Рогожин устремляется в наш секретариат возбуждать персональное дело и диффамации. В фотолаборатории клуба ему в два счета изготавливают дюжину отпечатков, и их он с негодованием выбрасывает на стол перед Федором Михеичем. Кабинет Федора Михеича как раз в это время битком набит членами правления, собравшимися по поводу какого-то юбилея. Многие уже в курсе. Стоит гогот. Фотографии разбегаются по рукам и в большинстве своем исчезают.

Федор Михеич с каменным лицом объявляет, что не видит в надписи никакой диффамации. Рогожин теряется лишь на секунду. Диффамация заключена в способе, каким произведена надпись, заявляет он. Федор Михеич с каменным лицом объявляет, что не видит никаких оснований обвинять именно Петра Скоробогатова. В ответ Рогожин требует графологической экспертизы. Все валяется друг на друга. Федор Михеич с каменным лицом выражает сомнение в действенности графологической экспертизы в данном конкретном случае. Рогожин, горячась, ссылается на данные криминалистической науки, утверждающей, якобы, будто свойства идеомоторики таковы, что почерк личности остается неизменным, чем бы личность не писала. Он пытается продемонстрировать этот факт, взявши в зубы шариковую ручку, чтобы расписаться на бумагах перед Федором Михеичем, угрожает и вообще ведет себя безобразно.

В конце концов Федор Михеич вынужден уступить, и на место происшествия выезжает комиссия. Петенька Скоробогатов, прижатый к стене и уже слегка напуганный размахом событий, сознается, что надпись сделал именно он. "Но не так же, как вы думаете, пошляки! Да разве это в человеческих силах?" Уже поздно. Вечер. Комиссия в полном составе стоит на крыльце. Сугроб еще днем перекопан и девственно чист. Петенька Скоробогатов медленно идет вдоль сугроба и, ловко орудуя пузатым заварочным чайником, выводит: "Рогожин, я к вам равнодушен!". Удовлетворенная комиссия уезжает. Надпись остается.

Каков Скоробогатов, Ойло мое Союзное?!

Громовой возглас: "И животноводство!" - вернул меня к настоящему. Суд продолжался. Возглас исторгся из груди бильярдиста, пробудившегося вдруг к активности. Пока я предавался воспоминаниям, что-то изменилось. С трибуны говорили почему-то о какой-то шубе. О дорогой шубе. Об импортной шубе.

Шуба была украдена. Шуба была украдена нагло, вызывающе. Кажется, собрание призывалось не воровать шубы. О жертвах сластолюбия и распущенности с трибуны больше не поминали, история же с шубой каким-то таинственным образом реабилитировала обвиняемого. Он уже не сидел с видом покорности судьбе, он распрямился и, упершись ладонями в расставленные колени, с вызовом и осудительно смотрел в сторону президиума. Члены президиума от него отворачивались, и один из них был значительно краснее остальных.

Я взглянул на часы. Было уже начало четвертого. Имело смысл поискать буфет, но тут мимо меня прямо в коридор выскользнули двое юношей, бледных, со взором горящим, вынули сигареты и закурили, жадно затягиваясь. Что бросилось мне в глаза, так это противоестественное их оживление, бодрость какая-то, азарт. Никакого утомления, никакой скуки, - напротив, они явно стремились как можно скорее проглотить свою порцию никотина и вернуться в зал. В жизни своей не видел, чтобы люди были так захвачены собранием.

Я спросил их, как долго, по их мнению, еще продлится это словоблудие. Я видел, что это выражение их покорило. Очень сухо они объяснили мне, что собрание сейчас в самом разгаре и вряд ли окончится раньше конца работы. Потом один из них догадался: "Вы писатель, наверное?" - "Увы", - сознался я. "А как ваша фамилия?" - с юношеской непосредственностью осведомился другой. "Тургенев", - сказал я и пошел домой.

Проклиная по дороге все собрания самым страшным проклятием, я зашел на Петровке в игрушечный магазин, купил близнецам-бандитам по автомобилю и вступил в свою квартиру уже вполне в духе. На кухне шуровала Катька. Мой изголодавшийся нос пришел в восторг и немедленно сообщил этот восторг всему моему организму: на кухне тушилось мясо по-бургундски.

Пока я раздевался, Катька вылетела из кухни, подставила мне горячую щеку и, держа лоснящиеся от готовки руки, как хирург перед операцией, с ходу принялась возбужденно мне рассказывать что-то о своих делах на службе.

Сначала я слушал ее вполслуха, потому что уже в который раз поразился: такая хорошенькая, такая, черт подери, пикантная молодая женщина, этакая гаврица - и неудачница! Как это может быть? Нелепость какая-то. Всегда я считал, что женщина с изюминкой просто обречена на успех, и вот на тебе... Тридцать лет. Двое детей. Первый муж растворился в воздухе. Второй муж барахло, слизняк какой-то непросыхающий. На работе конфликты. Диссертация три года как готова, а защититься не может. Несообразно все это, необъяснимо...

Машинально я пошел за нею на кухню и вдруг осознал, что говорит Катька какие-то странные вещи, непосредственно до меня касающиеся.

Оказывается, сегодня, после обеденного перерыва, ее вызвал к себе кадровик и устроил ей форменный допрос. Большей частью вопросы были обыкновенные, анкетные, но между ними, как бы невзначай, проскакивали вопросы, не лезущие ни к каким воротам. Чуткая Катька сразу же засекала их, не подавая виду, запомнила их и сейчас добросовестно, один за другим их пересказывала... С какого возраста она помнит своего отца, то есть меня? Была ли когда-нибудь у него на родине, то есть в Ленинграде? Знает ли кого-нибудь из довоенных друзей отца? Встречался ли при ней отец с кем-нибудь из этих друзей? Рассказывал ли ей отец о судьбе дома в Ленинграде, где вырос и жил до войны?..

Отбарабанивши все это, она замолчала и посмотрела на меня выжидательно. Я тоже молчал, с ужасом чувствуя, как лицо мое заливается краской, а глаза уезжают в угол самым подозрительным образом. Ощущал я себя полным идиотом.

- Пап, ты, может быть, опять что-нибудь натворил? - спросила она, понизив голос.

Она была напугана, а реакция моя на ее рассказ напугал ее еще больше. Я же только сопел в ответ. Тысячи слов рвались у меня с языка, но все они, как назло, были мелодраматические, фальшивые и предполагали жесты вроде простиранья дланей, задиранья очей горе и прочей шиллеровщины. Потом вдруг страшная мысль озарила меня: что, если "там" снова напечатали меня помимо ВААП? Ну что за сволочи, в самом деле! И меня прорвало:

- Чушь проклятая! - гаркнул я. - Не было ничего и быть не могло! Что ты на меня глаза вытаращила? Ну, настучала какая-нибудь стерва... Мало ли что... Зачем он тебя вообще вызывал? Он тебе сказал, зачем он тебя вызывал?

- Побеседовать, - сказала Катька. - Я может быть, в Гану поеду..

- В какую еще Гану? В Африку? А бандитов куда?

Но у нее, оказывается, все было продумано. Бандитов забирает Клара, квартиру она сдает Щукиным, собрания сочинений буду выкупать я. Мне все это дико не понравилось. Если бандиты будут у Клары, то как же я с ними буду видеться? Не желаю я встречаться с Кларой и с ее генералом, не желаю выкупать собрания сочинений... А потом - как же Альберт? Его тоже забирает Клара? Ах, мужа все равно переводят в Сызрань? Прелестно! Поздравляю! Опять двадцать пять по следам мамы. Впрочем, дело твое. Но имей в виду, что в Гане сейчас стреляют!

Ну, она знает, как со мной обращаться. Пока я шипел и испарялся, она ловко навалила мне полную тарелку мяса с грибами, тушеного в красном вине, и усадили за стол. Я крикнул, смягчился, бросил на нее последний взгляд, полный родительского упрека, и взялся за вилку.

- А ты чего же? - как обычно, спохватился я с уже набитым ртом.

- А я уже, - как обычно, ответила она, встала коленками на стул и, отключив круглую задницу, упершись локтями в стол, очень довольная, стала смотреть, как я ем.

- Раз в Гану, - прочавкал я, - тогда не бери себе в голову. Это просто кадровик уже и сам не знает, о чем спрашивать. Про мать спрашивал?

- Спрашивал.

- Ну вот! Отрежь-ка мне булочки.

- Про мать спрашивал, почему она с тобой развелась, - сказала Катька, нарезая булку.

Я с трудом удержался, чтобы не грохнуть ножом и вилкой об стол: что за свинство, какое его собачье дело? Но потом подумал: да провались они все пропадом, мне-то что до них? А если Катьку в Гану не пошлют, так тем лучше. Не хватало мне еще Катьки в Гане, где идет пальба и толпы фанатиков поливают друг друга напалмом...

- Странные все какие-то вопросы были, - произнесла Катька тихо. - Необычные. Пап, у тебя в самом деле все в порядке? Ты не скрываешь?

Вот почему никогда не дам я собственной своей, единственной и любимой дочери хоть страничку прочитать из синей папки. Как обожгло ее страхом после той статейки Брыжейкина о "Современных сказках", когда увезли меня с первым моим приступом стенокардии, так и осталась она до сих пор словно порченная. И сейчас вот - улыбается, острит, хвост пистолетом, а в глазах все тот же страх. Помню я эти глаза, когда в больнице сидела она возле моей койки...

Я успокоил ее, как умел, мы стали пить чай. Катька рассказывала про близнецов-бандитов, я рассказал про Петеньку Скоробогатова и про собрание, сделалось очень уютно, и неприятно было думать, что через четверть часа Катька соберется и уйдет. Потом я спохватился, отдал ей автомобили для бандитов и пригласительный билет на барда. Билет она приняла с восторгом и стала мне рассказывать про этого барда, какой он сейчас знаменитый, а я слушал и думал, как бы это поделикатнее дать ей понять, что про ателье и шубу (опять шуба!) я совсем не забыл, помню я про шубу, хотя она, Катька, мне о ней и не напоминает, просто с духом мне никак не собраться... Забрехала тут у меня надежда, что в связи с командировкой в Гану вопрос о шубе увянет сам собой: в самом деле, ну зачем ей шуба в этой Гане?

Она уже одевалась, когда зазвонил телефон. Пришлось проститься наспех, и я взял трубку. Кирие элейсон! Господи, спаси нас и помилуй! Звонил О.Орешин.

Он звонил мне с тем, чтобы я сейчас же и немедленно, прямо и недвусмысленно выразил свое положительное отношение к справедливой его, Орешина, борьбе против беспардонного плагиатора Семена Колесниченко. Заручившись моим положительным отношением, а он не скрывает, что я не первый, к кому он обращается за поддержкой, уже несколько авторитетных членов секретариата обещали ему полное содействие в беспощадной борьбе против плагиатчиков, без какового содействия, конечно же, немыслима сколько-нибудь реальная надежда на успех в разоблачении мафии плагиатчиков...

Я с болезненным даже любопытством ждал, как он будет выбираться из этой синтаксической спирали Бруно, я готов был пари держать, что он уже забыл, с чего начался у него этот невероятный период, однако не на таковского я напал.

Так вот, заручившись, моим положительным отношением, он, Орешин, на предстоящем заседании секретариата сумел бы поставить вопрос о мафии плагиатчиков с той резкостью и остротой, которой так не хватает нам, когда речь идет о людях, формально являющихся нашими коллегами, в то время как они морально и нравственно...

Я осторожно положил трубку на стол, принес стакан "бжни" и принял сустак. Олег Орешин все бубнил. Я снова попытался понять его психологию. Откровенно говоря, месяц назад, в момент возгорания сыр-бора, он показался мне явлением скорее зоологическим. Но теперь я понимаю, что ошибся. Не был он зоологическим явлением. Более того, не был он и политическим демагогом. Он, по-видимому, искренне был потрясен тем, что вот он в муках, а может быть, и в порыве неистового вдохновения создал морально-нравственную ситуацию, пригвоздив к позорному столбу грубых и алчных медведей, а также ловких и пронырливых зайцев, и вдруг - пожалуйста! - возникает какой-то Колесниченко, ловкач, этакий мотылек, литературный паразит по призванию, ни мук творчества у него не бывает, ни вдохновения, а просто зоркие глаза да загребушие лапы - хватает то, что плохо лежит, тят-ляп, быстренько перелопачивает - и готово! А чтобы половчее концы в воду, выдает свою стряпню за перевод с какого-то экзотического языка, уповая на то, что читать на нем все равно никто не умеет...

Дурак он, этот О.Орешин, вот что. Причем дурак не в обиходном, легком смысле этого слова, а дурак, как представитель особого психологического типа. Он среди нас как пришелец-инопланетянин: совершенно иная система ценностей, незнакомая и чуждая психология, иные цели существования, а то, что мы свысока считаем заскорузлым комплексом неполноценности, болезненным отклонением от психологической нормы, есть на самом-то деле исходно здоровый костяк его миропонимания.

- ...а в противном случае никто из нас, честных писателей, а ведь их большинство, колесниченки просто бросаются в глаза, а большинство все-таки составляют такие люди, как мы с вами, для которых главное - честный труд, тщательное изучение материала, идейно-художественный уровень...

- И животноводство! - рявкнул я по наитию.

Целую секунду, а может быть, и две трубка молчала. Затем Орешин произнес нерешительно:

- Животноводство? Да... животноводство - без всякого сомнения. Но вы поймите, Феликс Александрович, какое обстоятельство для меня здесь является самым важным...

И он затянул все сначала.

В общем, мы договорились с ним так, что я ознакомлюсь с этим делом поближе: прочитаю басню, прочитаю повесть, побеседую с Колесниченко, а уж потом мы созвонимся и возобновим этот интересный и полезный разговор.

Ф-фу! Я бросил трубку и наподобие счастливчика Джима, вскочивши с ногами на диван, принялся яростно чесать у себя под мышками и корчить ужасные гримасы. Нет спасения, крутилось у меня в голове. Нет им спасения, повторял я, подпрыгивая и гримасничая. Нет и не будет нам спасения ныне и присно, и во веки веков, аминь! Потом я запыхался, упал на диван спиной и разбросал руки крестом.

Только сейчас я заметил, что в комнате совсем темно. Уже вечер, хоть и ранний, а все-таки вечер, и я не без грусти подумал, что всего несколько лет назад я в такую вот пору еще садился за машинку и набарабанивал две-три полноценные страницы, а теперь амба, товарищ Сорокин, теперь ничего путного в такую пору вам уже не набарабанишь, только настроение себе испортите, и все дела...

И снова зазвонил телефон. Я кряхтя поднялся и взял трубку. Я еще не успел осознать вспыхнувшую надежду, что это Рита, когда мужской голос тихо произнес:

- Феликса Александровича, будьте добры.

- Я.

После маленькой паузы голос спросил:

- Простите, Феликс Александрович, вы получили наше письмо?

- Какое письмо?

- Э-э... Наверное, еще не дошло... Простите, Феликс Александрович...

Мы тогда позвоним через два дня... Простите... До свидания...

И пошли короткие гудки.

Что за черт... Я торопливо перебрал в памяти письма последних дней и

вдруг вспомнил про коричневый конверт без обратного адреса. Куда я его сунул? А! Я его в карман куртки сунул, да и забыл... Невнятное тоскливое предчувствие, которое я ощутил давеча, обнаружив отсутствие обратного адреса, снова овладело мною.

Я включил свет, сходил в переднюю за конвертом и, усевшись за стол, стал разглядывать штемпеля. Ничего особенного в штемпелях не оказалось. Москва Г-69 - где это?.. Бумага очень плотная, на просвет не проглядывается, но на ощупь в конверте ничего, кроме письма, нет. Я взял ножницы и аккуратно, по самому краю, взрезал конверт. Внутри оказался второй, тоже тщательно заклеенный, но уже вполне стандартный почтовый конверт с картинкой. Адреса на нем не было, написано было только: "Феликсу Александровичу Сорокину лично! Посторонним не вскрывать!".

Я поймал себя на том, что сижу, выпятив губу, в полной нерешительности. Телефонный звонок... "Мы позвоним..." Катькин кадровик... Перспектива нести этот конверт куда следует и давать какие-то объяснения, в том числе и в письменном виде, навалилась на мою душу. А впрочем...

Я решительно взрезал и второй конверт.

В нем оказался листок почтовой бумаги с голубым обрезом. Четким и даже красивым почерком черными чернилами написано там было следующее. Без обращения.

"Мы давно уже догадались, кто вы такой. Но не беспокойтесь. Ваша судьба так дорога и понятна нам, что с нашей стороны ни о какой угрозе разоблачения не может быть и речи. Наоборот, мы готовы приложить все силы к тому, чтобы погасить слухи, которые уже возникают относительно вас и причин, по которым вы среди нас оказались. Если вы не можете покинуть нашу планету (или наше время) по техническим причинам, то знайте: пусть наши технические возможности невелики, но они в полном вашем распоряжении. Мы будем звонить вам. Работайте спокойно".

Черт бы их всех подрал, анацефалов.

Эту ночь я провел хорошо, без кошмаров. Мне приснилось имя: Катя. Только имя, и больше ничего.

Я проснулся поздно и позавтракать решил в "Жемчужнице". Есть в нашем жилом массиве такое симпатичное заведение, расположенное точнехонько напротив районного Дома пионеров. Внешний вид у этого заведения довольно странный, более всего напоминает оно белофинский дот "Миллионный", разбитый прямым попаданием тысячекилограммовой бомбы: глыбы скучного серого бетона, торчащие вкривь и вкось, перемежаются клубками ржавой железной арматуры, долженствующими, по замыслу архитектора, изображать морские водоросли, на уровне же тротуара тянутся узкие амбразуры-окна. А внутри это вполне приличное заведение, никаких изысков: холл с гардеробом, за холлом - приветливый, хорошо освещенный круглый зал, там всегда можно взять обычные холодные закуски, из горячего подают бефстроганов и фирменное мясо в горшочке. Времени от времени я хожу туда завтракать, когда надоедают мне вареные яйца и фруктовый кефир.

Я подросел как раз к открытию, торопливо разделся и захватил столик у стены под окном. Официант, в котором развязность странно сочеталась с сонной угрюмостью, принес мне "пепси" и принял заказ на мясо в горшочке. Кругом гомонили. НАТОшак.

За мой столик никто не подсаживался, хотя место передо мной пустовало. С одной стороны это было, конечно, прекрасно. Терпеть не могу общаться с посторонними людьми. С другой же стороны, мне вдруг пришло в голову, что такое бывало и раньше: в троллейбусах ли, в метро, в таких вот забегах, где меня никто не знает, пустующее место рядом со мной занимают в последнюю очередь, когда других свободных мест больше нет. Где-то я читал, что есть такие люди, самый вид которых внушает окружающим то ли робость, то ли отвращение, то ли вообще инстинктивное желание держаться подальше. И подумав об этом, я тут же перескочил мыслями ко вчерашнему письму. Вот и еще фактик, пусть косвенный, который подтверждает, что не было то письмо дурацкой шуткой, что действительно почуял во мне кто-то нечто чужое, наводящее на фантастические мысли. Но все равно, главное, конечно, не в этих пустяках, а в моих "Современных сказках".

Господи, эта книжка воистину - как настоящий ребенок: неприятностей и горестей от нее гораздо больше, нежели радостей и удовольствий. Редакторы рубили ее в капусту, лапшу из нее делали, вермишель, и если бы не Мирон

Михайлович, изуродовали бы ее на всю жизнь. А когда она все-таки вышла, на нее двинулись рецензенты.

Фантастика в те поры еще только-только начинала формирование свое, была неуклюжа, беспомощна, отягощена генетическими болезнями сороковых годов, и рецензенты глядели на нее как на глиняного болвана для упражнений в кавалерийской рубке. Я читал рецензии на "Современные сказки", болезненно шипел, и перед глазами моими вставал, как на экране, бледный красавец в черкеске и с тухлым взглядом отпетого дроздовца; как он, докурив пахитоску до основания, двумя пальцами осторожно отлепляет заспущенный окурок от губы, сощуривается на мою беззащитную книгу, неторопливо обнажает шашку и легко разбегается на цыпочках, занося над головою голубую сталь...

Они писали, что я подражаю не лучшим американским образцам. (Сейчас эти образцы признаны лучшими.) Они писали, что машины у меня заслоняют людей. (Машин у меня вовсе никаких не было, разве что автобусы.) "Где автор увидел таких героев?" - спрашивали они у кого-то. "Чему может научить нашего читателя такая литература?" - вопрошали они друг друга. "И фальшивой нотой в работе издательства прозвучал выпуск беспомощной книжки Сорокина..."

А потом грянули обзор Гагашкина и фельетон Брыжейкина в "Образцовом информаторе", и я приземлился в больнице, и тут только начальственные благодетели мои спохватились, что на глазах у них режут хорошего человека, пусть даже и оступившегося по недосмотру, и взяли свои меры. Я не люблю вспоминать этот эпизод.

Тогда я не читал еще "Марсианских хроник" и даже не слышал, что такая книга существует. Я писал свои "сказки", представления не имея, что у меня получаются "Марсианские хроники" навыворот: цикл смешных и грустных историй о том, как осваивали нашу землю инопланетные пришельцы. Главное там для меня было - попытаться взглянуть на нас, на нашу обыденную жизнь, на наши страсти и надежды со стороны, глазами чужаков, не злобных каких-нибудь чужаков, а просто равнодушных, инакомыслящих и инакочувствующих. Получалось, по-моему, ей-богу, забавно, только вот некоторые критики до сих пор считают меня ренегатом большой литературы, а некоторые читатели, оказывается, - одним из героев этой книги...

Официант принес мне мясо в горшочке, я спросил еще одну бутылочку "пепси" и принялся есть.

- Вы разрешите? - произнес негромкий хрипловатый голос.

Поднявши глаза, я увидел, что рядом стоит, положив руку на спинку свободного стула, рослый горбун в свитере и потрепанных джинсах, с узким бледным лицом, обрамленным вьющимися золотистыми волосами до плеч. Без всякой приветливости я кивнул, и он тотчас уселся боком ко мне - видимо, горб мешал ему. Усевшись, он положил перед собой тощую черную папку и принялся тихонько барабанить по ней ногтями. Официант принес мне "пепси" и выжидательно взглянул на горбуна. Тот пробормотал: "Мне то же самое, если можно...". Я доел мясо, взялся за стакан и тут заметил, что горбун, оказывается, пристально смотрит на меня, а на красных длинных губах его блуждает улыбка, которую я бы назвал любезной, не будь она такой нерешительной. Я уже знал, что он сейчас заговорит со мной, и он заговорил.

- Понимаете ли, - сказал он, - мне посоветовали обратиться к вам.

- Ко мне?

- Понимаете ли, да. Именно к вам.

- Так, - сказал я, - а кто посоветовал?

- Да вот... - он с готовностью принялся озиаться, вытянув шею, словно стремясь заглянуть через головы. - Странно, только что вон там сидел... Где же он?..

Я смотрел на него. Был он весь какой-то грязноватый. Из рукавов серого грязноватого свитера высывались грязноватые манжеты сорочки, и воротник сорочки был засален и грязен, и руки его с длинными пальцами были давно не мыты, как и золотые волнистые волосы, как и бледное худое лицо с белобрисой щетинкой на щеках и подбородке. И пахло от него птичьим двором, этакой неопрятной кислотинкой. Станный он был тип: для бомжа выглядел слишком, пожалуй, респектабельно, а для так называемого приличного человека казался слишком уж опустившимся.

- Ушел куда-то, - сообщил он виноватым голосом. - Да бог с ним...

понимаете, он мне сказал, что вы способны если и не поверить, то, по крайней мере, понять.

- Слушаю вас, - сказал я, откровенно вздохнув.

- Собственно... вот! - он двинул ко мне через стол свою папку и сделал рукой жест, приглашающий папку раскрыть.

- Извините, - сказал я решительно, - но чужих рукописей я не читаю.

Обратитесь...

- Это не рукопись, - сказал он быстро. - То есть это не то, что вы думаете...

- Все равно, - сказал я.

- Нет, пожалуйста... это вас заинтересует! - и, видя, что я не собираюсь прикасаться к папке, он сам раскрыл ее передо мною.

В папке были ноты.

- Послушайте... - сказал я.

Но он не стал слушать. Понизив голос и перегнувшись ко мне через стол, он принялся рассказывать мне, мне, в чем, собственно, дело, совершая ораторские движения кистью правой руки и обдавая меня сложными запахами птичьего двора и пивной бочки.

А дело его ко мне состояло в том, что всего за пять рублей он предлагал в полную и безраздельную собственность партитуру труб страшного суда. Он лично перевел оригинал на современную нотную грамоту. Откуда она у него? Это длинная история, которую, к тому же, очень трудно изложить в общепонятных терминах. Он... Как бы это выразиться... Ну, скажем, падший ангел. Он оказался здесь, внизу, без всяких средств к существованию, буквально только с тем, что было у него в карманах. Работу найти практически невозможно, потому что документов, естественно, никаких нет... Одиночество... Никчемность... Бесперспективность... Всего пять рублей, неужели это так дорого? Ну хорошо, пусть будет три, хотя без пятерки ему велено не возвращаться...

Мне не раз приходилось выслушивать более или менее слезливые истории о потерянных железнодорожных билетах, украденных паспортах, сгоревших дотла квартирах. Эти истории давно уже перестали вызывать во мне не только сочувствие, но даже и элементарную брезгливость. Я молча совал в протянутую руку двугривенный и удалялся с места беседы с наивозможной поспешностью. Но история, которую преподнес мне золотоволосый горбун, показалась мне восхитительной с чисто профессиональной точки зрения. Грязноватый падший ангел был просто талантлив! Такая выдумка сделала бы честь и самому Г.Дж.Уэллсу. Судьба пятерки была решена, тут и говорить было не о чем. Но мне хотелось испытать эту историю на прочность. Точнее, на объемность.

Я придвинул к себе ноты и взглянул. Никогда и ничего я не понимал в этих крючках и запятых. Ну, хорошо. Значит, вы утверждаете, что если эту мелодию сыграть, скажем на кладбище...

Да, конечно. Но не надо. Это было бы слишком жестоко...

По отношению к кому?

По отношению к мертвым разумеется! Вы обрекли бы их тысячи и тысячи лет скитаться без приюта по всей планете.

И еще подумайте о себе. Готовы ли вы к такому зрелищу?

Это рассуждение мне понравилось, и я спросил: для чего же тогда, по моему мнению, мне могут понадобиться эти ноты?

Он страшно удивился. Разве мне не интересно иметь в своем распоряжении такую вещь? Неужели я не хотел бы иметь гвоздь, которым была прибита к перекладине креста рука учителя? Или, например, каменную плиту, на которой Сатана оставил проплавленные следы своих копыт, пока стоял над гробом папы Григория Седьмого Гильдебранда?

Этот пример с плитой пришелся мне по душе. Так мог сказать только человек, представления не имеющий о малогабаритных квартирах. Ну, хорошо, сказал я, а если сыграть эту мелодию не на кладбище, а где-нибудь в парке культуры имени Горького?

Падший ангел нерешительно пожал плечами. Наверное, лучше этого не делать. Откуда нам знать, что там, в этом парке на глубине трех метров под асфальтом?

Я вынул пять рублей и положил перед горбуном.

- Гонорар, - сказал я. - Валяйте в том же духе. Воображение у вас есть.

- Ничего у меня нет, - тоскливо отозвался горбун.

Он небрежно сунул пятерку в карман джинсов, поднялся и, не прощаясь, пошел прочь между столиками.

- Ноты заберите! - крикнул я ему вслед.

Но он не обернулся.

Я сидел, ожидая официанта, чтобы расплатиться, и от нечего делать разглядывал ноты. Их всего-то было четыре листочка, и вот на обороте последнего я обнаружил небрежную запись шариковой ручкой: "пр.Грановского 19, "Жемчужница", клетч.пальто".

Наверное, нервы у меня в последнее время были немножечко на взводе, уж больно густо шли события, уж больно расщедрился тот кому надлежит ведать моей судьбой. Поэтому, едва прочитав про "клетч.пальто", я тут же вскочил, словно шилом ткнутый, и поглядел в оконную амбразуру - сначала налево, потом направо. Я едва не опоздал: известный мне человек в клетчатом пальто-перевертыше, крепко сжимая локоть златокудрого горбуна, облаченного в неопрятный брезентовый плащ до пят, исчезал вместе с ним из поля моего зрения.

Я опустил на стул и припал к стакану.

Такой конец забавной, хотя и не столь уж приятной истории подействовал на меня настолько угнетающе, что мне захотелось немедленно вернуться домой и никуда больше сегодня не ходить. Несвязные подозрения роились в моем воображении, выстраивались и тут же разваливались сюжетики самого отвратительного свойства, но в конце концов возобладала самая здравая и самая реалистическая мысль: "Что я скажу Федору моему Михеичу?".

Подошел официант, и я беспрекословно расплатился за свое мясо, за свою "пепси" и за ту "пепси", которую не стал пить падший ангел. Затем я взял свою папку, вложил в нее ноты, пустую папку горбун оставил на столе и пошел в гардероб одеваться.

Всю дорогу до Банной я украдкой высматривал фигуру в клетчатом пальто, но так ничего и не высмотрел.

Конференц-зал на этот раз был пуст и погружен в полутьму. Пройдя между рядами стульев, я добрался до двери под надписью "Писатели - сюда" и постучался. Никто мне не ответил, и, осторожно отворив дверь, я вступил в ярко освещенное помещение вроде короткого коридора. В конце этого коридора имела место еще одна дверь, над которой красовался этаким светофорчик, вроде тех застекленных шуток, какие обыкновенно бывают над входом в рентгеновский кабинет. Верхняя половина светофорчика светилась, демонстрируя надпись "Не входить!". Нижняя была темная, однако и на ней можно было без труда различить надпись "Входите". По правой стене коридорчика поставлено было несколько стульев, и на одном из них, скрючившись в три погибели и опираясь ладонями на роскошный, хоть и потертый бювар, торчком поставленный на острые коленки, сидел сам Гнойный Прыщ собственной персоной.

При виде его у меня, как всегда, подступило к горлу, и, как всегда, я подумал: "Это надо же, жив! Опять жив!".

Я поздоровался. Он ответил и пожевал провалившимся ртом. Я сел за два стула от него и стал смотреть в стену перед собой. Я ничего не видел, кроме основательно обшарпанной стены, небрежно окрашенной светло-зеленой краской, но я физически ощущал, как выцветшие старческие глазки внимательно и прицельно сбоку меня ощупывают, как идет в шаг от меня некая привычная мозговая работа - с машинной скоростью тасуются некие карточки, на которые занесено все: был или не был, состоял ли, участвовал ли, все факты, все слухи, все сплетни и всевозможные интерпретации слухов, и необходимые комментарии к сплетням, и строятся какие-то умозаключения, и подбираются некие итоги, и формулируются выводы, которые, возможно, понадобятся впредь.

Я сознавал, конечно, что все это - мое воображение. Старая сволочь вряд ли даже знала меня, а если и знала, то времена уже нынче не те, старый он уже, никому он теперь не нужен и никому не опасен. Года не проходит, чтобы не пронесся слух, будто он почил в бозе, он теперь более персонаж исторических анекдотов, нежели живой человек, - гнойная тень, протянувшаяся через годы в наше время.

Тут он заговорил. Голос у него был скрипучий и невнятный - наверное, из-за плохого протеза. Однако я разобрал, что он полагает нынешнюю зиму ненормально снежной, и еще что-то о климате и погоде. Я кое-как ему

ответил. В том же духе.

Этот мерзкий старик представился мне вдруг рудиментом совсем другой эпохи. Или совсем других условий существования. Ты перешел улицу на красный свет - и эта тварь откусывает тебе ноги. Ты вставил в рукопись неуместное слово - и тварь откусывает тебе руки. Ты выиграл по облигации - и тварь откусывает тебе голову. Ты абсолютно беззащитен перед нею, потому что не знаешь и никогда не узнаешь законов ее охоты и целей ее существования. У кого-то из фантастов - то ли у Ефремова, то ли у Беляева - описан чудовищный зверь - гишу, пожиратель древних слонов доживший до эпохи человека. Человек не умел спастись от него, потому что не понимал его повадок, а не понимал потому, что повадки эти возникли в те времена, когда человека еще не было и быть не могло. И человек мог спастись от гишу только одним способом: объединиться с себе подобными и убить...

Мы поговорили о погоде. Потом, помолчав, опять поговорили о погоде. Потом он стал возмущаться - какое это безобразие - на третий этаж без лифта по винтовой лестнице. Я предпочел промолчать, эта тема показалась мне скользкой.

Года два назад Гарик Аганян пробивал в "Космосе" свой сборник научно-фантастических рассказов. Какие-то там приключения на ракете, которая движется быстрее скорости света. Конечно, Гарик знал, что таких ракет нет и быть не может, он мне лично несколько раз это объяснял и притом вполне доходчиво. Но зачем-то понадобилась ему такая вот сверхсветовая ракета. Ну, научная фантастика, у них там свои дела... Сборник и без того проходил туго, и вдруг каким-то неведомым образом рецензентом его оказался Гнойный Прыщ. Тут вообще много загадок. Откуда в "Космосе" взялся Гнойный Прыщ? А если уж взялся, то зачем ему понадобилось топить именно Гарика? А может, и не Гарика, а редактора. Или, скажем, рекомендателей Гарика в наш союз...

Факт тот, что он Гарика утопил, да так, как никто Гарика до сих пор не тапливал. По всем непредставимым правилам древних пожирателей слонов. Он вывел черным по белому, что наш Гарик - антинаучный мракобес, исповедующий людоедские теории гитлеризма. Причем копию рецензии он подгадал в аккурат к тому самому заседанию нашей приемной комиссии, где должно было разбираться Гариново заявление о приеме. И когда председательствующий зачитал нам прыщавый этот перл, мы буквально рты разинули, и наступила тишина, хотя все мы там собрались люди опытные и всякого повидавшие. Гитлеризм-то тут причем? А вот при чем.

Как известно, максимальная скорость в природе - это скорость света. Кто это установил? Великий ученый Альберт Эйнштейн. А кто преследовал великого Альберта Эйнштейна? Гитлеровские мракобесы. А что утверждает Г.Аганян в своих злобных писаниях? Существование скоростей выше скорости света. Кого он таким образом ревизует - и даже не ревизует, а попросту злобно опровергает? Великого Альберта Эйнштейна. С кем же, спрашивается, смыкает свои ряды Г.Аганян? То-то!

Вот логика гишу, если это вообще можно назвать логикой. Вот почему не желаю я обсуждать с Гнойным Прыщом какие бы то ни было проблемы, кроме как насчет погоды. Кстати, прием Гарика был-таки отложен тогда на несколько месяцев, впредь до выяснения. И понадобилось могучее вмешательство секретариата, да еще не нашего, а всесоюзного, чтобы отбить этот жуткий наскок из палеолита...

Тут дверь под светофорчиком распахнулась, и в коридор к нам ввалился Петенька Скоробогатов.

- Господи, да что это с тобой? - воскликнул я, вставая ему навстречу.

Голова Петеньки была обмотана белым бинтом, как чалмой. Левая рука, тоже перебинтованная и толстая, как бревно, висела на перевязи. Правой рукой Петенька опирался на палку. "Да что же это они с ним сделали?" - с ужасом подумал я.

Впрочем тут же выяснилось, что они ничего с ним не делали, а просто вчера, возвращаясь с собрания, увлекшись спором с председателем тутошнего месткома, Петенька Скоробогатов, Ойло наше союзное, промахнулся на ступеньках и сверзился по винтовой лестнице с третьего этажа на первый. Трех увезли в больницу, и там они по сей день лежат. После трепанации. А он, Петенька, хоть бы хны.

- ...так, понимаешь, и полетел кувырком по спирали с третьего до первого. Голова-ноги, голова-ноги. И хоть бы хны! Повезло понимаешь, за

председателя зацепился, а он толстый такой кнур, мягкий...

Он расселся рядом со мной, вытянув поврежденную ногу. Все ему было как с гуся вода. Не задерживаясь на таких мелочах, как разорванное ухо, вывихнутая рука, растянутая лодыжка, он уже врал мне про то, как его вчера днем вызывали в госкомиздат и предлагали издать двухтомник в подарочном издании. Иллюстрировать двухтомник будут Кукрыниксы, а печатать подрядилась типография в Ляйпциге...

Услыхав про Ляйпциг, я невольно покосился вправо. К счастью, Гнойного Прыща уже не было.

- А это у тебя что?! - вскричал вдруг Петенька, выхватывая у меня папку. - А! Так ты и музыкой балуешься? - произнес он, увидев ноты. - Брось, не советую. Мертвый номер, - он сунул папку обратно мне в руки. - Вот я сейчас... Ей-богу, сам удивился. Сумасшедший индекс сейчас получил. Просто сумасшедший. Этот тип мне рукопись не вернул. "Не отдам, - говорит. - Эталон". Я ему говорю: "Какой там эталон, писано между делом, скучнейший заказ". А он отвечает: "Для вас - скучнейший заказ, а для нас - эталон". Не-ет, Феликс, машину не обманешь, что ты!

И снова распахнулась дверь под светофорчиком, и в коридорчик вернулся Гнойный Прыщ. Он переступил через порог, плотно прикрыл за собой дверь и остановился. Несколько секунд он стоял, упершись одной рукой в стену, а другой прижимая к груди бювар. Лицо у него было зеленое, как у протухшего покойника, рот мучительно полуоткрыт, глаза навыкате.

- Как же так? - прошипел он, вполне, впрочем, явственно, - как это может быть? Ведь я же своими глазами...

Его шатнуло, и мы с Петенькой ринулись к нему, чтобы поддержать. Но он отвел нас рукой, сжимающей бювар.

- Я же лично... - свистящим шепотом прокричал он, уставясь в пространство между нами. - Лично... Сам!

- Пустяки, - бодро произнес Петенька, обхватывая его за талию рукою с тростью. - Ничего такого особенного нету. И раньше бывало, и еще много раз будет, Мефодий Кирилыч...

- Да Вы понимаете ли что говорите? - спросил его Мефодий Кирилыч с каким-то даже отчаянием. - Или, может, трубы страшного суда протрубили?

- Ни-ни-ни-ни-ни! - возразил Петенька. - Это я Вам просто гарантирую. Никаких труб, кроме газовых, большого диаметра. Давайте-ка мы с Вами присядем, Мефодий Кирилыч, и маленько отдышимся...

- Лично!.. - проскрипел старик, послушно усаживаясь. - А впоследствии сам читал...

- Вы, Мефодий Кирилыч, строчки читали, а надо было между, - сказал Петенька, нагло мне подмигивая. - Там, видимо, подтекст был, а Вы его не уловили. Вот машина Вас и ущучила...

- Какой подтекст? Какая машина? Да Вы понимаете ли, о чем я говорю, молодой человек?

Мне было тягостно и противно, я отвернулся и тут же заметил, что на светофорчике горит теперь надпись "Входите". Как сомнамбула, поднялся я с места и последовал приглашению.

Мне и раньше приходилось бывать в вычислительных центрах, так что серые шершавые шкафы, панели, мигающие огоньками, прочие экраны-циферблаты внимания моего в этой большой, ярко освещенной комнате не привлекли. Гораздо страннее и интереснее показался мне человек, сидевший за столом, заваленным рулонами и папками.

Был он, похоже, в моих годах, худощавый, с русыми, легко рассыпающимися волосами, с чертами лица в общем обыкновенными и в то же время чем-то неуловимо значительными. Что-то настораживало в этом лице, что-то в нем такое было, что ощущалась потребность внутренне подтянуться и говорить кратко, литературно и без всякого ерничества. Был он в синем лабораторном халате поверх серого костюма, сорочка на нем была белоснежная, а галстук неброский, старомодный и старомодно повязанный.

- Закройте, пожалуйста, дверь плотно, - произнес он мягким приятным голосом.

Я оглянулся и увидел, что оставил дверь полуоткрытой, извинился и прихлопнул створку. Затем я назвал себя. Что-то изменилось в его лице, и я понял, что имя мое ему знакомо. Впрочем, себя он не назвал и сказал только:

- Очень рад, если позволите, давайте взглянем, что вы нам принесли.

Пройдите сюда, присаживайтесь.

В этих простых и даже, пожалуй, простейших, обыкновеннейших словах его прозвучало, как мне показалось, какое-то превосходство, притом настолько значительное, что я испытал вдруг потребность объясниться, оправдаться, что я не манкировал, что так уж сложились обстоятельства мои в последнее время, а вообще-то я уж был здесь вчера, буквально двадцать шагов не дошел до его двери - опять же по причинам, от меня никак не зависящим.

Впрочем, этот приступ виноватой почтительности, острый, почти физиологический, миновал быстро, и разумеется, я ничего такого ему не сказал, а просто прошел к его столу, положил перед ним свою папку, а сам сел в довольно удобное полукресло. Меня вдруг двинуло в противоположность, захотелось вдруг развалиться и ногу перекинуть через ногу, и, рассеянно озираясь по сторонам, изрыгнуть какую-нибудь фривольную банальность вроде: "А ничего себе живут ученые, лихо устроились!"

Но и такого, конечно, я ему ничего не сказал, и ногу на ногу задирать не стал, а сидел смирно, прилично, и смотрел, как он придвигает к себе мою папку, осторожно и аккуратно развязывает тесемки, а сам словно бы улыбаётся длинным тонким ртом и, кажется, поглядывает на меня сквозь рассыпавшиеся волосы-то ли с любопытством, то ли с ехидцей, но явно доброжелательно.

Он раскрыл папку и увидел ноты. Брови его слегка приподнялись. Бормоча неловкие извинения, я потянулся за проклятой партитурой, но он, не отводя взгляда от нотных строчек, остановил меня легким движением ладони. Несомненно, он-то умел читать нотную грамоту, и прочитанное, несомненно, заинтересовало его, потому что, разрешив наконец мне изъять из папки манускрипт падшего ангела, он посмотрел на меня невеселыми серыми глазами и произнес:

- Любопытные, надо вам сказать, бумаги попадают в старых папках у писателей...

Я не нашелся, что ему ответить, да и не ждал он моего ответа, а уже бегло, но аккуратно перелистывал копии моих рецензий на давно уже гниющие в редакционных архивах поделки из самотека, копии аннотаций на японские патенты, рукописи моих переводов из японских технических журналов и прочий хлам, оставшийся от тех моих тяжелых лет, когда меня перестали печатать и принялись поносить...

Он листал, надеясь, видимо, отыскать в этой гряде хлама что-нибудь хоть мало-мальски полезное, и мне стало ужасно стыдно, и я почувствовал себя последней свиньей, что вот сидит передо мною человек, строгий и невеселый, не халтурщик какой-нибудь и не конъюнктурщик, и Сорокина он, видимо, читал, и ждал от Сорокина серьезный материал, на который можно было бы опереться в работе, элементарной порядочности ждал он от Сорокина, а Сорокин приволок ему мешок дерьма и вывалил на стол - на, мол, подавись...

Такие примерно переживания терзали меня, когда он закрыл наконец позорную папку, положил на нее бледные руки с длинными худыми пальцами и снова на меня посмотрел.

- Я вижу, Феликс Александрович, - произнес он, - что вас вовсе не интересует объективная ценность вашего творчества.

Не знаю, содержался ли в его словах или тоне упрек, но я из плебейского чувства противоречия сейчас же ошетинился.

- Это почему же вы так полагаете?

- Ну а как же? - он постучал ногтем по папке. - Из этого материала, который вы мне принесли, только и следует, что у вас скверный почерк и что в Японии много работали над топливными элементами.

Вздорный демон склоки заворочался во мне, выталкивая наружу злобно-трусливые оправдания: "Знать ничего не хочу, сказано было-любую рукопись, вот вам из любых, пожалуйста, сами не знают, что им надо, а потом сами недовольны...". Но ничего подобного говорить я не стал, а сказал, поникнув:

- Так уж вышло...

И добавил, неожиданно для себя:

- Не сердитесь, пожалуйста.

- Ну что вы, - произнес он и вдруг улыбнулся странной печально-ласковой улыбкой. - Как же мне на вас сердится, Феликс

Александрович? В сущности, ведь это нужнее вам, чем нам.

И тут до меня дошло, какую поразительную вещь сказал он минуту назад.

- Позвольте, - проговорил я, почему-то понизив голос. - Вы шутите, наверное? В каком смысле вы это сказали - про объективную ценность?

- В самом прямом, - ответил он, перестав улыбаться.

- Да разве же это возможно? Это что же, надо понимать, что вы здесь изобрели Мензуру Зоили?

- Почему бы и нет? И Мензуру, и многое другое...

- Но позвольте! Это же бессмыслица! Какая может быть у произведения объективная ценность?

- Почему бы и нет? - повторил он.

- Да хотя бы потому... это же, простите, банальность! Мне, например, нравится, а вас от каждого слова тошнит. Сегодня это гремит на весь мир, а завтра все забыли...

- Все это, Феликс Александрович, верно, но какое это имеет отношение к объективной ценности?

- А такое это имеет отношение к объективной ценности, - сказал я, горячась, - что объективно ценное произведение должно быть и для вас ценно, и для меня ценно, и вчера было ценно, и завтра будет ценно, а этого не бывает, этого не может быть!

Однако он возразил, что я путаю объективную ценность с ценностью вечною. Вечных ценностей не бывает действительно, ничего не бывает в литературе и искусстве такого, что бы ценилось всеми и всегда. Но не замечал ли я, что многие произведения, отгремев, казалось бы, свое, проживши, казалось бы, свою жизнь, вдруг возрождаются спустя века и снова гремят и живут, и еще даже громче и энергичнее, нежели раньше?

Может быть, имеет смысл такую вот способность заново обретать жизнь как раз и считать мерою объективной ценности? Причем это всего лишь один из возможных подходов к проблеме объективной ценности... Существуют и другие, более функциональные, более удобные для алгоритмизации...

Я слушал его и физически ощущал, как горячность моя уходит, словно вода в песок. Я люблю поспорить, особенно на такие вот отвлеченные, непрактичные темы. Но мое представление об отвлеченных спорах непременно предполагает вполне определенную атмосферу: легкая эйфория, уютная компания, кофейничек, естественно, и в перспективе второй кофейничек, коль скоро возникнет в нем необходимость. Здесь же, среди шершавых шкафов, в мертвенном свете ртутных трубок, среди рулонов и графиков, и не в уютной компании, а в обществе человека, перед которым я испытывал робость... Нет, граждане, в такой обстановке я вам не спорщик.

И словно бы угадав эти мои мысли, он произнес:

- Впрочем, спорить об этом, Феликс Александрович, не имеет никакого смысла. Машина для измерения объективной ценности художественных произведений, Мензура Зоили, как вы ее называете, создана. И уже довольно давно. И вот когда она была создана, Феликс Александрович, возник другой вопрос, гораздо более важный: да нужна ли кому-нибудь объективная ценность произведения? Чрезвычайно поучительна судьба первой действующей модели такой машины, а также ее изобретателя... Простите, я вас не утомляю?

Жутковатое предчувствие уже овладело мною, и я поспешно закивал, всем видом своим давая понять, что нисколько не утомлен и очень жду продолжения.

И не обмануло меня предчувствие. Он рассказал мне, как три десятка лет назад молодой изобретатель-энтузиаст привез на мотоцикле в писательский Дом творчества в Кукушкине свою первую модель "Изпитала" - "измерителя писательского таланта"; и о том, как Захар Купидоныч без разрешения подбросил в машину рукопись Сидора Аменподестовича и потом с восторгом зачитал в столовой заключение "Изпитала", никого, впрочем, не удивившее; и о том, какая безобразная драка произошла возле равнодушной машины между Фливием Веспасиановичем и бестактным редактором издательства "Московский литератор"; и о том, как был безнадежно испорчен юбилей Гауссианы Никифоровны, когда пропали даром сто семь порций осетрины на вертеле и филе по-суворовски, доставленные из клуба на персональном ЗИСе; и как Лукьян Любомудрович тщился подкупить изобретателя, чтобы тот подкрутил что-нибудь в своем проклятом аппарате, - предлагал сначала ящик водки, потом деньги и, наконец, жилплощадь в одном из высотных зданий... Словом, о том, как восемь дней в Доме творчества в Кукушкине стоял ад

кромешный, а в ночь на девятый день машину разнесли вдребезги, а еще через день Мефодий Кириллыч закончил эту историю в полном соответствии с исчезнувшими правилами разрешения конфликтов.

Жадно выслушав эту историю, я спросил, едва он замолчал:

- Значит и вы знали Анатолия Ефимовича?

- Разумеется! - ответил он с некоторым даже удивлением. - А почему вы сейчас о нем вспомнили?

- Ну, как же? Ведь все то, что вы мне сейчас рассказали, это замысел комедии, которую покойный Анатолий Ефимович хотел написать...

- А, да, - произнес он, как бы вспомнив. - Только он, знаете ли, не только хотел написать. Он и написал эту комедию. Он и себя там вывел - под другим именем, конечно. А в марте пятьдесят второго года все это и произошло в Кукушкине...

Что-то резануло меня в этой последней фразе, но я уже зацепился за другую, как мне казалось, несообразность.

- Что значит - написал? - возразил я. - Мне Анатолий Ефимович все это рассказывал буквально за месяц до кончины. Именно как замысел комедии рассказывал!..

Он усмехнулся невесело.

- Нет, Феликс Александрович. Когда он вам это рассказывал, пьеса уже четверть века как была написана. И лежала она в трех экземплярах, отредактированная, выправленная, вполне готовая к постановке, в ящике его стола. Помните его стол? Огромный, старинный, с множеством ящиков. Так вот слева, в самом низу и лежала эта его комедия с неуклюжим названием "Испитал".

Он произнес это так веско и так в то же время грустно, что мне ничего другого не оставалось, как немного помолчать. И мы помолчали, и он снова раскрыл мою папку и принялся перелистывать рукописи.

Я чувствовал легкую обиду на Анатолия Ефимовича, что не доверился он мне и не показал этот кусочек своей жизни, а ведь казалось мне, что он меня любит и отличает. Хотя, с другой стороны, кто я ему был такой, чтобы мне доверять? Бесед своих устраивал в кухне за чаем, где принимал только близких, и на том спасибо...

Но одновременно с легкой обидой испытывал я и удивление. Удивляло меня не то, что Мензура Зоили, оказывается давно уже изобретена и опробована. Меня удивляло, что я не испытываю по этому поводу удивления. Как-никак реальное существование такой машины опрокидывало многие мои представления о возможном и невозможном...

Наверное, все дело было в том, что сама личность моего собеседника до такой степени выходила за рамки этих моих представлений, что все остальное казалось мне странным и удивительным лишь постольку, поскольку было от нее производным. Мне ужасно хотелось спросить, а не он ли тот самый молодой изобретатель, который устроил неделю ужасов в Кукушкине, а затем был выведен в пьесе Анатолия Ефимовича. Я уже кашлянул и уже рот было разинул, но он тотчас же поднял на меня свои прозрачные серые глаза, и я тут же понял, что ни за что не решусь задать ему этот вопрос. И брякнул я наугад:

- Так что же это у вас получается? Значит, все вот эти шкафы и есть "испитал"? Значит, правильно у нас говорят, что вы здесь измеряете уровень наших талантов?

На этот раз он даже не улыбнулся.

- Нет, конечно, - проговорил он. - То есть, в каком-то смысле - да.

Но в общем-то мы занимаемся совсем другими проблемами, очень специальными, скорее лингвистическими... или, точнее, социально лингвистическими.

Я спросил, надо ли мне понимать его так, что эти шершавые шкафы действительно могут измерить уровень моего таланта, только сейчас настроены на другую задачу. Он ответил, что в известном смысле так и есть. Тогда я не без яду осведомился, в каких же единицах измеряется у них здесь талант: по пятибалльной шкале, как в средней школе, или по двенадцатибалльной, как измеряются землетрясения... Он возразил, что наивно было бы предполагать, будто такое сложное социопсихологическое явление, как талант, можно оценивать в таких примитивных единицах. Талант - явление специфическое и для своего измерения требует единиц специфических...

- Впрочем, - сказал он, - проще будет показать вам, как машина работает. Данные, которые она выдает, имеют весьма косвенное отношение к

таланту, но все равно... Вот, скажем, эта страничка, ваша рецензия на некую повесть под названием "Рожденье голубки"... Что это за повесть - можно судить по одному названию... Но машина будет иметь дело не с повестью, а только с вашей рецензией, Феликс Александрович.

Он не без труда отцепил от листов намертво прижавшую скрепку, взял верхний листок и положил его в такой мелкий ящичек размером в машинописную страницу. Затем он задвинул ящичек в паз, небрежно перекинул несколько тумблеров на пульте и нажал указательным пальцем на красную клавишу с лампочкой внутри. Лампочка погасла, но зато засуетились и замигали многочисленные огоньки на вертикальной панели, и оживились два больших экрана по сторонам панели. Зазмеились кривые, запрыгали цифры, защелкали и тихонько заныли всякие там клистроны, кенотроны и прочие электронные потроха. Эпоха НТР.

Длилось все это с полминуты. Затем нытье прекратилось, а на панели и на экранах установились покой и порядок. Теперь там светились две гладкие кривые и огромное количество разнообразных цифр.

- Ну, вот и все, - произнес он, выдвинул ящичек и уложил листок обратно в папку.

Я и рта раскрыть не успел, а он уже объяснял мне, что вот эти цифры - это энтропия моего текста, а вот эти характеризуют что-то такое, что долго объяснять, а вот эта кривая - это сглаженный коэффициент чего-то такого, что я не разобрал, а вот эта - распределение чего-то такого, что я разобрал и даже запомнил было, но сразу забыл.

- Обратите внимание вот на эту цифру, - сказал он, постукивая пальцем по одинокой четверке, сиротливо устроившейся в нижнем правом углу цифрового экрана. - Среди ваших коллег сложилось почему-то убеждение, будто именно это и есть пресловутая объективная оценка или индекс гениальности, как называет ее этот странный, обмотанный бинтами человек.

- Ойло Союзное, - пробормотал я машинально.

- Возможно. Впрочем, сегодня он назвался Козлухиным, а вообще-то он появлялся здесь неоднократно, каждый раз с другой рукописью и под другим именем. Так вот, он упорно называет эту цифру индексом гениальности и считает, что чем она больше, тем автор гениальней...

И он рассказал, как, пытаясь разубедить Петеньку Скоробогатова, он однажды вырвал наугад из какой-то случайно попавшейся под руку газеты фельетон про жуликов в торговой сети и вложил в машину, и машина показала семизначное число, и хотя невооруженным глазом было видно, что фельетон безнадежно далек от гениальности, Петенька Скоробогатов ни в чем не разубедился, хитренько подмигнул и бережно спрятал газетный обрывок в разбухшую записную книжку.

- Так что же она показала, эта ваша семизначная цифра? - с любопытством спросил я.

- Простите, Феликс Александрович, но цифры бывают только однозначные. Семизначными бывают числа. Так вот, число, выдаваемое на этой строчке дисплея, он снова постучал пальцем по моей четверке, - есть, популярно говоря, наивероятнейшее количество читателей данного текста.

- Читателей текста... - заметил я с робкой мстительностью.

- Да-да, строгий стилист несомненно найдет это словосочетание отвратным, однако в данном случае "читатель текста" - это термин, означающий человека, который хотя бы один раз прочитал или прочтет в будущем данный текст. Так что эта четверка - не какой-то там мифический индекс вашей, Феликс Александрович, гениальности, а всего лишь наивероятнейшее количество читателей вашей рецензии, показатель нкчт, или просто чт...

- А что такое эн-ка? - спросил я, чтобы что-нибудь сказать: голова у меня шла кругом.

- Нк - наивероятнейшее количество.

- Ага... - сказал я и замолчал было, но в голове моей тут на мгновение прояснело, и я спросил с возмущением: - Так какое же отношение это ваше нкчт имеет к таланту, к способностям, вообще к качеству данного, как вы выражаетесь текста?

- Я предупреждал вас, Феликс Александрович, что мера эта имеет лишь косвенное отношение...

- Да никакое даже не косвенное! - прервал я его, набирая обороты. - Количество читателей зависит прежде всего от тиражей!

- А тиражи?

- Ну, знаете, - сказал я, - уж вы то мне не рассказывайте! Уж мыто знаем, от чего, а главное - от кого зависят тиражи! Сколько угодно могу я вам назвать безобразной халтуры, которая вышла полумиллионными тиражами...

- Разумеется, разумеется, Феликс Александрович! Вы сейчас совсем как этот ваш забинтованный Козлухин, почему-то упорно и простодушно связываете величину нкчт с качеством текста прямой зависимостью.

- Это не я связываю, это вы сами связываете! Я-то как раз считаю, что никакой зависимости нет, ни прямой, ни косвенной!

- Ну как же нет, Феликс Александрович? Вот текст, - он двумя пальцами приподнял за уголок страничку злосчастной моей рецензии, - показатель нкчт, как видите четыре. Есть возражения против такой оценки?

- Но позвольте... естественно, если брать рецензию, да еще внутреннюю... Ну, редактор ее прочтет... Может, автор, если ему покажут...

- Так. Значит, возражений нет.

Он вдруг ловко, как фокусник, извлек из моей папки старую школьную тетрадку в выцветшей, желто-пятнистой обложке и столь стремительно придвинул ее к лицу моему, что я отшатнулся.

- Что мы здесь видим? - спросил он.

Мы здесь видели щемяще знакомую с детских лет картинку: бородатый витязь прощается с могучим долгогривым конем. А под картинкой стихи: "Как ныне собирается Вещий Олег..."

- В чем дело? - спросил я с вызовом. - Между прочим, замечательные, превосходные стихи... Никакие уроки литературы их не убили...

- Безусловно, безусловно, - сказал он. - Но я вас не об этом спрашиваю. Если этот листок ввести сейчас в машину, то?..

Я интеллектуально заметался.

- Н-ну... - промямлил я, - много должно получиться, наверное... Одних школьников сколько... Миллионов десять-двадцать?

- За миллиард, - жестко произнес он. - За миллиард, Феликс Александрович!

- Может, и за миллиард, - сказал я покорно. - Я же говорю - много...

- Итак, - произнес он, - тривиальная рецензия - нкчт равно четырем. "Замечательные, превосходные стихи" - нкчт превосходит миллиард. А вы говорите - никакой зависимости нет.

- Так ведь... - я замахал руками и защелкал пальцами. - "Песня-то... о Вещем Олеге"... Она ведь напечатана! И сколько раз! ее поют даже!

- Поют, - он покивал. - И будут петь. И будут печатать снова и снова.

- Ну вот! А рецензия моя...

- А рецензию вашу петь не будут. И печатать ее тоже не будут. Никогда. Потому и нкчт у нее всего четыре. На прошлые времена и на все будущие. Так она и сгниет, никем не читанная.

Удивительное ощущение возникло у меня в этот момент. Он словно хотел что-то подсказать мне, навести на какую-то мысль. Он словно стучался в какую-то неведомую мне дверцу моего сознания: "Открой! Впусти!". Но все произнесенные нами слова и высказанные мысли были сами по себе банальны до бесцветности, и никакого отклика во мне они не находили. Словно кто-то пуховой подушкой бил в стальную дверь намертво запертого сейфа.

- Ну и правильно... - сказал я нерешительно. - И господь с ней. Тоже мне - художественная ценность...

Он помолчал, разминая пальцами кожу над бровями.

- Я пошутил, Феликс Александрович, - сказал вдруг он почти виновато.

- Конечно же, вы совершенно правы.

Он снова замолк. Молчал и я, пытаюсь понять, в чем же именно я оказался прав, да еще - совершенно прав. И еще, в чем была соль шуток. И когда молчание стало неловким и даже неприличным, я произнес:

- Ну, что же... Я пойду, пожалуй?

- Да-да, конечно, большое вам спасибо.

- Папку я возьму?

- Разумеется, прошу вас.

- А может быть, она вам...

- Нет-нет, большое спасибо. Мы выжали из нее все, что можно.

- Так что мне больше приходить не надо?

Он поднял на меня невеселые глаза.

- Я всегда буду рад вас видеть, Феликс Александрович. Правда, завтра

меня здесь не будет. Приходите послезавтра, если соберетесь.

Не знаю, что он имел в виду на самом деле, но для меня это приглашение прозвучало скорее как приказ. И опять демон склоки шевельнулся в душе моей, но я не дал ему воли. Я ограничился тем, что пожал плечами, и принялся завязывать тесемки на папке, и тут он сказал:

- Ноты, пожалуйста, не забудьте, Феликс Александрович.

Оказывается, я чуть не забыл у него на столе эти дурацкие ноты. Он смотрел, как я запикиваю их в папку, как снова завязываю тесемки, а когда мы уже попрощались и я уже шел к выходу, он сказал мне вслед:

- Феликс Александрович, я бы не советовал вам носить эту партитуру по улицам. Мало ли что может случиться...

Но я решил ничего не уточнять. С меня было довольно. Слово бы ничего не услышав, я молча вышел в коридорчик и плотно прикрыл за собой дверь. В коридорчике никого не было.

От Банной до метро я пошел пешком. Я брел, оскальзываясь, по обледенелым тротуарам, проталкивался через скопления провинциалов у дверей модных магазинов, пробирался через скопления автомобилей на перекрестках и при этом почти ничего вокруг себя не замечал. Мысли мои неотступно возвращались к беседе с моим странным знакомым. Кстати, ведь он так и не назвал себя! И как это ему удалось? Странно, странно...

С одной стороны, казалось бы, что тут такого? Встретились два интеллигентных человека. По делу. Познакомились. Ну, ладно, один из них себя не назвал, а другой вспомнил об этом только после беседы. Это далеко не самое странное. Два интеллигентных, несомненно симпатичных друг другу человека обменялись кое-какими, довольно отвлеченными соображениями по поводу вполне банальных предметов: гениальность, творчество, литература, читатели, тиражи и тэ дэ. Но почему после этой беседы у меня словно занозы какие-то засели в сознании? Где-то вот здесь, за ушами, будто зудит что-то. Но что именно и почему?..

Уже в метро, стиснутый между двумя детскими колясками (в одной был ребенок, а в другой - резиновые камеры для "Москвича") я внезапно совершенно отчетливо услышал сквозь грохот колес его мягкий голос: "Анатолий Ефимович не только хотел написать эту комедию. Он ее и написал. А в марте пятьдесят второго года все это в Кукушкине и произошло".

Так. Вот она, первая заноза. Сначала написал, а потом все это произошло. Вздор, вздор, это мне послышалось, конечно. Или оговорка. Главное - что у него было с Анатолием Ефимовичем? И когда он, собственно, успел? Анатолий Ефимович, не в пример подавляющему большинству моих коллег, был человеком крайне замкнутым, я бы даже сказал - нелюдимым. Заседаниями он манкировал, даже самыми ответственными. Салоны не посещал и в доме своем, упаси бог, таковых не устраивал. В клубе почти не появлялся, спиртного не любил, а предпочитал хороший чай, заваренный собственноручно в домашних условиях. Друзей у него практически не осталось: одни умерли еще до войны, другие погибли, а третьи, как он однажды выразился, "избрали часть благую". В сущности он был одинок, я каждый раз думал об этом, когда видел в углу его кабинета груды нераспечатанных пачек с многочисленными переизданиями его трилогии, той самой, удостоенной всех мыслимых лавров, - он не раздаривал даже авторские экземпляры, ему некому было их раздаривать.

Собственно, кроме меня он принимал в своем доме еще семь человек. Я всех их знал, и уверен я, что никто из них и не слыхивал об "Испитале". А нынешний мой знакомец не только слыхал об этой комедии, но и явно читал ее! Странно, странно... может быть, они когда-то, еще до меня задолго, были близки, а потом рассорились? Но ведь он примерно моего возраста, он в сыновья Анатолию Ефимовичу годится, так когда же бы они успели?..

Я так ничего и не придумал по этому поводу, а потом все эти мысли вылетели у меня из головы, когда совсем уже рядом с домом я поскользнулся по-настоящему, совершил фантастический пируэт и обрушился на бок, вдобавок сбив с ног подвернувшуюся даму с собачкой.

Поднимать нас сбежалось шестеро, и порядочно было тут кряхтенья, сопенья, ободрительных возгласов и сомнительных lamentаций по поводу того, что право на труд у нас не подразумевает, видно, права на посыпание песком обледенелых тротуаров. Больше всех, по-моему, пострадала собачка, которой в суматохе оттопали лапу, но и я треснул весьма серьезно. Я стоял, прижимая ладонь к боку, и пытался дышать, а вокруг меня переговаривались в

том смысле, что ничего подобного в Москве еще не бывало... Бардак... Конец света... Страшный суд...

Отдышавшись, я с трудом произнес слова благодарности спасителям моим и слова вины перед несчастной дамой и ее собачкой. Мы разошлись, и я поковылял к облицованному черной плиткой крыльцу своему.

Эсхатологические реминисценции, прозвучавшие в негодующем хоре поборников права на труд для дворников, направили мысли мои в совершенно иное русло. Я вспомнил падшего ангела и его дурацкие ноты, а затем, по естественной ассоциации, вспомнил напутственные слова моего сегодняшнего знакомого. "Я бы не советовал вам разгуливать с этими нотами по улице. Мало ли что, знаете ли..." А что, собственно? Что это за ноты такие, с которыми мне не советуют гулять по улицам? "Боже, царя храни"? или "Хорст Вессель"? И по этому поводу тоже у меня ничего не придумалось, кроме невероятного, разумеется, но зато все объясняющего предположения, что это действительно партитура труб страшного суда. Но тут я, по крайней мере, знал, к кому обратиться. Я не доехал до своего шестнадцатого этажа, а вышел на шестом. Там в четырехкомнатной квартире жил и работал популярный композитор-песенник Георгий Луарсабович Чачуа, хлебосол, эпикуреец и неистовый трудяга, с которым мы были на "ты" чуть ли не с самого дня вселения в этот дом.

Из-за обитой дерматином двери гремел рояль и заливался прекрасный женский голос. Видимо, Чачуа работал. Я заколебался. Из-за двери грохнул взрыв хохота, рояль смолк, голос тоже оборвался. Нет, кажется, Чачуа не работал. Я нажал кнопку звонка. В тот же момент рояль загредел снова, и несколько мужских глоток грянули что-то грузинское. Да, Чачуа, кажется, не работал. Я позвонил вторично.

Дверь распахнулась, и на пороге возник Чачуа в черных концертных брюках с яркими подтяжками поверх ослепительно белой сорочки, расстегнутой у ворота, разгоряченное лицо озабочено, гигантский нос покрыт испариной. Ч-черт, все-таки он работал...

- Извини, ради бога, - сказал я, прижимая к груди папку.

- Что случилось? - осведомился он встревоженно и в то же время слегка раздраженно.

- Ничего не случилось, - ответил я, намертво задавливая в себе позыв говорить с кавказским акцентом. - Я на минуту забежал, потому что у меня к тебе...

- Слушай, - произнес он, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. - Зайди попозже, а? Там люди у меня, работаем. Часа через два, да?

- Подожди, у меня дело совсем пустяковое, - сказал я, торопливо развязывая тесемки на папке. - Вот ноты. Посмотри, пожалуйста, когда будет время...

Он принял у меня листки и с недоумевающим видом перебрал их в руках. Из глубины квартиры доносились спорящие мужские голоса. Спорили о чем-то музыкальном.

- Л-ладно... - произнес он замедленно, не отрывая взгляда от листов.

- Слушай, кто писал, откуда взял, а?

- Это я тебе потом расскажу, - сказал я, отступая от двери.

- Да, дорогой, - сейчас же согласился Чачуа. - Лучше потом. Я сам к тебе зайду. У меня еще на час работы, потом "Спартак" будет играть, а потом я к тебе зайду.

Он махнул мне листками и захлопнул дверь.

Придя домой и раздевшись, я прежде всего полез в душ. Я был мокрый от пота, ушибленный бок ныл немилосердно, и вообще мне надо было успокоиться. Ворочаясь под душем, я составил себе программу на вечер. Прежде всего - ужин, он же сегодня обед. Его надо приготовить. Картошка есть. Сметана есть. Кажется. Есть зеленый горошек. Ба! Есть же банка говядины! К черту супы! Сварить картошку и вывалить в нее тушеную говядину! И лук есть, и маринованная черемша... Много ли человеку надо? Я враз повеселел.

Почему я не против чистить картошку, так это потому, что голова совершенно свободна. Между прочим, никто из моих знакомых не умеет чистить картошку так чисто и быстро как я. Армия, товарищи! Центнеры, тонны, вагоны перечищенной картошки! и какой, бывало, картошки! Гнилой, глубоко замороженной, сине-зеленой, прочерневшей насквозь... А такую вот картошечку мирного времени, да еще рыночную вдобавок, чистить одно удовольствие. И, боже мой, как это прекрасно, что больше мне не надо ехать

на Банную!..

Я промыл неочищенные картофелины в трех водах, налил в кастрюльку воды и нарезал в нее картофелины, разрезав каждую надвое или натрое. Затем я поставил кастрюльку на огонь.

...Как хотите, а вся эта их затея с определением нкчт - чушь и разбазаривание народных денег. Как и большинство высокоумных затей, связанных с литературой и искусством вообще. Это же надо, понаставили шкафов тысяч на сто, и все для того лишь, чтобы доказать: ежели писателя издавать, то читателей у него будет много, хотя, может, и не очень; а ежели его, наоборот, не издавать, ежели его, сукина кота, держать в черном теле, то тогда у него, мерзавца, пакостника этого, читателей и вовсе не будет. Или еще хлестче: ежели издать, скажем, Александра Сергеевича Пушкина томик хотя бы и прозы и параллельно издать романчик Унитазова Сортир Сортирыча про страсти в литейном ковше, то у Пушкина читателей окажется не в пример больше. Вот ведь, по сути дела, и все, что он пытался мне там втолковать. Ну, плюс еще, может быть, нехитрую мысль, что хорошее всегда хорошо, а плохое не всегда плохо...

Или тут что-то не так? Или что-то я тогда не понял, и сейчас понять не могу? А, вольно же ему было намекать, говорил бы прямо, чего ему нужно, а теперь я хрен туда еще когда-нибудь пойду, а вот и картошечка поспела!..

Вот и все готово сделалось у меня на столе, аппетитнейшая смесь картофеля и красноватой говядины дымилась в глубокой тарелке, и пахло на кухне мясными запахами и луком, и лавровым листом, и до чего же славно стало жить, и горизонты посветлели и озарились добрыми предчувствиями. Сценария у меня более половины готово, и в ателье за шубой идти не надо, и не надо, черт подери, совсем не надо больше идти на Банную. Все долги уплачены до захода солнца, как говаривал юный мистер Коркран.

Я набил рот картошкой с мясом и потянулся к телевизору.

По первой программе кто-то пилил на скрипке. Полюбовавшись некоторое время измученным лицом пыльщика, я переключился. По второй программе плясала самодеятельность: взметывала пестрые юбки, грохотала каблучками, сводила и разводила руки и время от времени душераздирающе взвизгивала. Я снова набил рот картошкой и снова переключился. Здесь несколько пожилых людей сидели вокруг круглого стола и разговаривали. Речь шла о достигнутых рубежах, о решимости что-то где-то обеспечить, о больших работах по реконструкции чего-то железного...

Я жевал картошку, ставшую вдруг безвкусной, слушал и проникновенно про себя матерился. Телевизор! Блистательное чудо двадцатого нашего века! Поистине фантастический концентрат усилий, таланта, изобретательности десятков, сотен, тысяч великолепнейших умов нашего, моего времени! Для того, чтобы сейчас вот, вернувшись с работы, десятки миллионов усталых людей остервенело щелкали переключателями вместе со мной, не в силах решить поистине неразрешимую задачу: что выбрать? Вдохновенного пыльщика? Или буйную потную толпу самодеятельных плясунов? Или этих унылых и косноязычных специалистов за круглым столом?

Все-таки я выбрал пыльщика. Добавил картошки и стал слушать. Наваждение какое-то, подумалось мне вдруг. С самого детства меня пичкают классической музыкой. Вероятно, кто-то где-то когда-то сказал, что если человека каждый день пичкать классической музыкой, то он помаленьку к ней привыкнет и в дальнейшем уже жить без нее не сможет, и это будет хорошо. И началось. Мы жаждали джаза, мы сходили по джазу с ума - нас душили симфониями. Мы обожали душещипательные романсы и блатные песни - нас рушили скрипичные концерты. Мы рвались слушать бардов и менестрелей - нас травили ораториями. Если бы все эти титанические усилия по внедрению музыкальной культуры в наше сознание имели кпд ну хотя бы как у тепловой машины Дени Папена, я жил бы сейчас в окружении знатоков и почитателей музыкальной классики и сам, безусловно, был бы таким знатоком и почитателем. Тысячи и тысячи часов по радио, тысячи и тысячи телевизионных программ, миллионы пластинок... И что же в результате? Гарик Аганян почти профессионально знает поп-музыку. Жора Наумов до сих пор коллекционирует бардов. Ойло Союзное вроде меня: чем меньше музыки, тем лучше. Шибзд Леня вообще ненавидит музыку. Есть, правда, Валя Демченко. Но он любит классику с раннего детства, музыкальная пропаганда здесь ни при чем...

Пока я размышлял на эти темы, скрипач с экрана пропал, а на его место ворвались хоккеисты, и один из них сразу же ударил другого клюшкой по

голове. Оператор стыдливо увел камеру в сторону, самое интересное мне не показали, и я выключил телевизор. Я был сыт, удовлетворен зрелищами, и оставалось мне всего-то навсего вымыть посуду.

Потом я перешел в кабинет и медленно двинулся вдоль стенки с книгами, ведя указательным пальцем по стеклу.

"Война и мир". Не сегодня. Полугода еще не прошло.

"Письма Чехова". Не то настроение.

Чуковский. "От Чехова до наших дней". Недавно перечитывал. Так. Сам Антон Павлович в десяти томах. "Скучную историю перечитать? Нет. Побережем для дня помрачнее.

Михаил Булгаков. Я некоторое время рассматривал коричневый корешок, уже помятый, уже облупившийся местами, а внизу вон какая-то заусеница образовалась... Нет, хватит, впредь я эту книжку никому больше не дам. Неряхи чертовы. "Велик был год и страшен год по рождестве Христовом тысяча девятьсот восемнадцатый, от начала же революции - второй..."

- Нет, - сказал я вслух. - Я сейчас "Театральный роман" почитаю. Ничего на свете нет лучше "Театрального романа", хотите бейте вы меня, а хотите режьте...

И я извлек с полки томик Булгакова и обласкал пальцами, и огладил ладонью гладкий переплет, и в который уже раз подумал, что нельзя, грешно относится к книгам, как к живому человеку.

Телефон грянул у меня за спиной, и я вздрогнул, потому что был уже не здесь, а в крошечной грязной комнатухе с диваном, из которого торчала пружина, неудобная, как кафкианский бред. Ушибленный бок у меня вдруг заныл, и, прижимая к ребрам прохладный томик, я подошел к столу, повалился в кресло и взял трубку.

Звонил Валя Демченко. Я вот совсем забыл, а в субботу, оказывается, у Сонечки день рождения, и меня звали. Я обрадовался. Я обрадовался потому, во-первых, что Сонечкин день рождения справляется далеко не каждый год, и уж если справляется, то это означает, что все у них хорошо, что пребывают они в полосе материального благополучия, все здоровы, капитан-лейтенант Демченко, всплывши из соленых пучин, прислал бодрое письмо из города Мурманска на Н-ском море, и вообще все прекрасно. А во-вторых, я обрадовался потому, что далеко не всякого приглашают на дни рождения Сонечки.

Мы поговорили. Я спросил, как обстоит дело с последней Валиной повестью, со "Старым дураком". Валя ответил, что в "Ежеквартальном надзирателе" после давешних неприятностей и читать не стали, шарахнулись, как от прокаженного, а в "Губернском вестнике" да, прочли. Но молчат пока, ждут возвращения главного. Главный сейчас в Швеции, а может быть в Швейцарии, а может быть и в Швамбрании. Поэтому никто в "Губернском вестнике" мнения по поводу повести пока не имеет. А вот когда главный вернется и прочитает, вот тут-то и мнение возникнет как бы по волшебству...

Спросил я, как он собирается бороться за название. Он ответил, что никак не собирается, что повесть теперь называется "Старый мудрец", а вот сцену возвращения он решил оставить. Какого черта! Не хочет он своею собственной рукой отрезать от себя лучшие куски мяса. Пусть уж они режут, им за это деньги платят. И не такие уж маленькие...

Я успокоил его в том смысле, что у них-то рука не дрогнет. Он не спорил. Он знал это лучше меня. Затем он спросил, не звонил ли мне сегодня Ленья. Ах, не звонил? Ну, так еще позвонит. Он новую фразу написал, но не совсем в ней уверен...

Положивши трубку, я задумался: что подарить Сонечке? Я не умею делать подарки. Особенно женщинам. Коньяк? Не годится, хотя Сонечка любит хороший коньяк. Духи? Черт их разберет эти духи. Может быть, подарить просто пятьдесят рублей чеками внешпосылторга? Неудобно как-то. Книгу надо подарить какую-нибудь, вот что. Эх, был бы у меня какой-нибудь альбом репродукций... Или хотя бы деньги, рубликов триста пятьдесят, - в "Планете" продается, умереть можно!

Может быть, по ассоциации с Вашингтоном вспомнился мне мой Дэшиел Хэммет. Давно, ох, давно точит Сонечка зубки на моего Дэшиела Хэммета. Однотомничек с лучшими его вещами, избранное я бы сказал, все равно что в моем коричневом томике Булгакова. "Кровавый урожай" там есть, и "Мальтийский сокол", и "Стеклянный ключ"... Я ведь все это знаю почти

наизусть, а Сонечка - это такой человек, что прав у нее на эту книгу ничуть не меньше, чем у меня.

И принявши это решение, я поставил томик Булгакова на место, перешел к полкам с иностранщиной и, отодвинув в сторону модель драконоподобного корабля "Тхюен жонг", на каких древние вьетнамцы катали своих королей, извлек Хэммета. Вот что я сделаю, подумал я, листая страницы с золотым обрезом. Почитаю-ка я его сегодня и завтра напоследок и с тем распрощаюсь. Осторожно, чтобы не потревожить свой многострадальный бок, я возлег на диван, и том в моих руках сам собой раскрылся на "Мальтийском соколе".

Я дочитал до того места, где к Сэму Спэйду заявляются под утро лейтенант Дарби и детектив Том, и тут мне стало невмоготу. Я отложил книгу, поднялся, кряхтя, и спустил ноги с дивана.

Бок болел у меня, который уж раз болел у меня этот несчастный мой левый бок. Я побрел в ванную, задрал перед зеркалом рубаху и посмотрел. Бок был жирный, дряблый был у меня бок, и никаких следов увечья на нем не обнаруживалось. Как, впрочем, и в прежние разы.

В первый раз я сломал себе это ребро в шестьдесят пятом, зимой в Мурашах, когда подвинул меня лукавый съехать на финских санях по крутому склону до самого залива. Все съезжали вот и я решил: чем я хуже? А хуже я оказался тем, что на середине склона струсил, показалось мне вдруг, что скорость моя приближается к космической, и чтобы не улететь к едреной фене, я принял решение катапультироваться. И катапультировался. Шагов двадцать скакал я на левом боку вниз по пересеченной местности. "Сломали ребрышко-то", - сказал мне хирург нашей поликлиники, когда я, вернувшись из Мурашей, явился к нему с жалобой на боли в боку. Это было раз.

Два года спустя я однажды зашел в клуб пообедать. Я озираясь в поисках свободного столика, и тут на меня из-за угла напало сильно поддатое Ойло Союзное. Будучи в агрессивно-восторженном состоянии духа (по случаю гонорара за очередную свою халтуру), оно обхватило меня длинными своими конечностями поперек, как в свое время Геркулес схватил Антея, приподняло меня над матерью-землей и стиснуло так, что ребро только жалобно хрустнуло. "Ты знаешь, трещина у тебя, старик", - озабоченно сказал мне мой приятель-врач, когда я пожаловался на боль. Это было два.

В позапрошлом году, когда я в составе писательской бригады шел на сухогрузе из Владивостока в Петропавловск, застал нас на траверзе острова Мацуа восьмибалльный шторм. Писательская бригада, закатив глаза, благополучно помирала в койках, меня же, морской болезни не подверженного, черт понес на палубу. Буквально на секунду оторвал я руку от поручней, и меня со страшной силой шарахнуло о комингс все тем же боком. "Боюсь, переломчик у вас", - сказал мне судовой врач, и, как выяснилось впоследствии, боялся он не напрасно.

Это было уже три, и мне казалось, что поскольку бог любит именно троицу, злключения ребра моего на этом закончатся. Но, как видно, изба не строится без четырех углов...

Я уныло заглянул в пустую жестянку из-под кофе и втиснул ее в шкафчик под мойкой. Чаю попою, вот что я сейчас сделаю. Я поставил чайник, а сам встал у окна и прислонился лбом к холодному стеклу.

Экая все-таки мерзопакость. Ведь казалось же, что все наладилось, все заботы позади, так нет же - теперь ребро. Тот, кто ведает моей судьбой, махнул рукой на изящество выдумки и обратился к приемам прямым, грубым, подлым. Ну, на что это похоже? Среди бела дня, в пределах огромного мегаполиса, солидный пожилой человек, не спортсмен какой-нибудь легкомысленный, не буян и не алкоголик, вдруг ни с того, ни с сего ломает ребро! Горько и неприлично...

Я сходил в кабинет за Дэшиелом Хэмметом и принялся пристраиваться около кухонного стола в поисках позы, наименее болезненной. Как и в прошлые разы, оказалось, что легче всего мне в излюбленной Катькиной позе: колени на табуретке, локти на столе, задница в воздухе. В этой позе я стал пить чай и читать про пудовую статуэтку сокола из чистого золота, которую мальтийские рыцари изготовили когда-то в подарок королю Испании, а в наши дни началась за нею кровавая гангстерская охота. Когда я дочитал до того места, где в контору Сэма Спэйда вваливается продырявленный пятью пулями капитан "Ла паломы", в дверь позвонили.

Кряхтя и постанывая, с огромной неохотой оторвавшись от Сэма Спэйда, я побрел открывать. Оказывается, за это время я успел начисто забыть и про

ноты Падшего ангела, и про Гогу Чачуа, и поэтому, увидев его на пороге, я испытал потрясение, тем более, что лицо его...

Нет, строго говоря, лица на нем не было. Был огромный с синими прожилками светло-голубой нос над толстыми усами с пробором, были бледные дрожащие губы, и были черные тоскливые глаза, наполненные слезами и отчаянием. Проклятые ноты, свернутые в трубку, он судорожно сжимал в волосатых кулаках, прижатых к груди. Он молчал, а у меня так перехватило дух от ужасного предчувствия, что и я не мог выговорить ни слова и только посторонился, давая ему дорогу.

Как слепой, он устремился в прихожую, натолкнулся на стенку и неверными шагами двинулся в кабинет. Там он обеими руками бросил ноты на стол, словно эта бумажная трубка обжигала его, упал в кресло и прижал к глазам ладони.

Ноги подо мной подогнулись, и я остановился в дверях, ухватившись за косяк. Он молчал, и мне казалось, что молчание это длится бесконечно долго. Более того, мне казалось, что оно никогда не кончится, и у меня возникла дикая надежда, что оно никогда не кончится, и я не услышу никогда тот ужас, который принес мне Чачуа. Но он все-таки заговорил:

- Слушай... - просипел он, отрывая руки от лица и запуская пальцы в густую шерсть над ушами. - Опять "Спартак" пропер! Ну, что ты будешь делать, а?

5

И опять приснился мне сон, исполненный бессилия и безнадежности: будто с пушечным громом распахнулись все окна и двери и тугим сквозняком вынесло из синей папки все, что я написал, в озаренное кровавым заревом пространство над шестнадцатизатной пропастью, и закружились, замелькали, закувыркались разносимые ветром странички, и ничего не осталось в синей папке, но еще можно было сбегать вниз, догнать, собрать, спасти хоть что-нибудь, да вот только ноги словно вросли в пол, и глубоко в тело вошли удерживающие меня над лоджией крючья. "Катя!" - закричал я и заплакал в отчаянии, и проснулся, и оказалось, что глаза у меня сухи, ноги свело, и невыносимо болит бок.

Некоторое время я лежал под светлыми квадратами на потолке, терпеливо двигал ступнями, чтобы избавиться от судороги, и мысли мои текли лениво и без всякого порядка. Думалось мне, что я все-таки очень нездоров, и придется мне внять все-таки убеждениям Катьки и лечь на обследование... И сразу все затормозится, все остановится, и надолго закроется моя синяя папка...

И еще я подумал, что хорошо бы распечатать ее в двух экземплярах, и пусть один экземпляр хранится у Риты... Хотя, с другой стороны, она тоже не девочка, что-то у нее нехорошее то ли с почками, то ли с печенью... Совершенно непонятно, просто представить себе нельзя, как, где, у кого можно поместить рукопись на хранение - чтобы и хранили, и не совали в нее нос...

Потому что вполне возможно, что нынешний сон мой - пророческий: ничего мне не успеть закончить, и разметет мою синюю папку тугой сквозняк по каналам и помойкам. И листочка не останется, чтобы засунуть его в машину на предмет определения нкчт...

И вот когда я вспомнил об нкчт (просто так вспомнил, к мысли пришлось по принципу иронии и жалости), вот тогда словно сама собой появилась у меня догадка, ясная и сухая, как формула: не ценность произведения они там определяют.

Так вот, что он хотел мне все время втолковать, невеселый мой вчерашний знакомец! Наивероятнейшее количество читателей текста - сюда же все входит! И тиражи сюда входят, и качество, и популярность, и талант писателя, и талант читателя, между прочим. И можешь ты написать гениальнейшую вещь, а машина выдаст тебе мизер, потому что никуда твоя гениальная вещь не пойдет, прочтут ее разве что жена, близкие друзья да хорошо знакомый редактор, на котором все и кончится: "Ты же понимаешь, старик... Ты, старик, пойми меня правильно..."

Умненькая машина, хитренькая! А я, дурак, потащил к ним свои

рецензии, мусор им свой потащил, мусорную свою корзину. Я сел, обхвативши колени руками. Вот что он имел в виду. Вот почему он мне, можно сказать, назначил следующее свидание. Сущное он мое имел в виду, подлинное. Чтобы твердо понял я, на каком я свете и надо ли мне дальше горячиться или же, подобно многим до меня, стоит бросить работать и начать вместо этого хорошо зарабатывать...

И холодно мне стало от этих мыслей, кожа пошла мурашками, и я натянул на плечи одеяло, и ужасно вдруг захотелось закурить.

Страшненькая машина, жутенькая. И зачем только это им понадобилось? Конечно, знать будущее - вековая мечта человечества, вроде ковра-самолета и сапог-скороходов. Цари-короли-императоры большие деньги за такое знание сулили. Но если подумать, то при одном неременном условии: чтобы будущее это было приятным. А неприятное будущее - кому его нужно знать? Вот прихожу я на Банную с синей папкой, и говорит мне машина человеческим голосом: "А дела твои, Феликс Александрович, дерьмо. Три читателя у тебя будут, утрись..."

Я отбросил одеяло и стал на шаривать ногами тапочки.

А ведь не идти на Банную теперь тоже нельзя! Должен же я знать...

Зачем? Зачем мне это знать, что вся работа моя, жизнь моя, по сути дела, коту под хвост? Но с другой стороны, почему уж так обязательно коту под хвост? А если и так, то что это означает - коту под хвост? Не сам ли я мечтаю отдать на хранение синюю папку так, чтобы не залез в нее потный любопытный нос Брыжейкина или Гагашкина? Впрочем, потный любопытный нос - это все-таки нечто иное. Брыжейкин Гагашкиным, а читатель читателем. Все же я, черт возьми, не рукоблудием занимаюсь, - я для людей пишу, а не для самоуслаждения. Конечно, с самого начала я готов был к тому, что синюю папку при моей жизни не напечатают. Обычное дело, не я первый, не я последний. Но мысль о том, что она просто сгинет, на пропасть пойдет, растворится во времени без следа... Нет, к этому я не готов. Глупо, согласен. Но не готов. Потому и страшно!

Я умывался, приводил в порядок постель, готовил завтрак, занятый этими мыслями. Было всего половина седьмого, но все равно я не мог бы теперь ни спать, ни даже просто лежать. Меня прямо-таки трясло от нервного возбуждения, от желания что-нибудь немедленно сделать или хотя бы решить.

Это ж надо же, до чего нас убедили, будто рукописи не горят! Горят они, да еще как горят, прямо-таки синим пламенем! Гадать страшно, сколько их, наверное, сгнуло, не объявившись... Не хочу я для своего творения такой судьбы. И узнать о такой судьбе не хотелось бы, если она такая... Ах, не зря, не зря обиняками вчера говорил мой невеселый знакомец, мог бы ведь и прямо сказать, что к чему, но рассудил, что ежели не догадаюсь я сам, то бог убогому простит, а уж если догадаюсь, тогда деваться мне будет некуда: приду и принесу, и узнаю...

И нечувствительно оказалось, что сижу я за своим столом, и синяя папка распахнута передо мною, и пальцы мои сами собой берут листок за листком и бережно перекладывают справа налево, оглаживают, выравнивают объемистую уже стопочку, и ужасно горько мне стало, что вчера поздно вечером дочитал я последнюю написанную строчку. А как хорошо было бы именно сегодня, сейчас вот, в минуту неуверенности, в минуту паники, когда дорога моя неумолимо ведет к развилке, как хорошо было бы в эту минуту прочесть последнюю, еще неведомую мне, ненаписанную строчку и под нею слово "конец". Тогда я мог бы сказать сейчас с легкой душой "Все это, государи мои, философия, а вот полюбуйтесь-ка на это!" - и покачал бы синюю папку на растопыренной пятерне.

И так нестерпимо захотелось мне приблизить хоть немного этот далекий момент, что я торопливо раскрыл машинку, заправил чистый лист бумаги и напечатал:

"Часть вторая. Следовательно".

Я уже давно знал, что вторая часть будет называться "Следовательно". Я очень неплохо представлял себе, что происходит там в первых двух главах этой части, и потому мне понадобилось всего каких-нибудь полчаса, чтобы на бумаге появилось:

"У Андрея вдруг заболела голова. Он с отвращением раздавил в переполненной пепельнице окурков, выдвинул средний ящик стола и заглянул, нет ли там каких-нибудь пилюль. Пилюль не было. Поверх старых перемешанных бумаг лежал там черный армейский пистолет, по углам прятался пыльный

табачный мусор, валялись обтрепанные картонные коробочки с канцелярской мелочью, огрызки карандашей, несколько сломанных сигарет. От всего этого головная боль только усилилась. Андрей с треском задвинул ящик, подпер голову руками так, чтобы ладони прикрыли глаза, и сквозь щелки между пальцами стал смотреть на Питера Блока.

Питер Блок, по прозвищу Копчик, сидел в отдалении на табуретке, смиренно сложив на костлявых коленях красные лапки, и равнодушно мигал, время от времени облизываясь. Голова у него явно не болела, но зато ему, видимо, хотелось пить. И курить тоже. Андрей с усилием оторвал ладони от лица, налил себе из графина тепловатой воды и, преодолев легкий спазм, выпил полстакана..."

Я снял руки с клавиш и почесал подбородок. Обычное дело: когда я пытаюсь взять эту мою работу приступом, на голом энтузиазме, все застопоривается.

В следующие полчаса я только вставил от руки слово "скрепки" и добавил "Питер Блок облизнулся". Нет, серьезную работу делают не так.

Серьезную работу делают, например, в Мурашах, в Доме творчества. Предварительно надо собраться с духом, полностью отрешиться от всего суетного и прочно отрезать себе все пути к отступлению. Ты должен твердо знать, что путевка на полный срок оплачена и деньги эти ни под каким видом не будут тебе возвращены. И никакого вдохновения! Только ежедневный рабский, механический, до изнеможения труд. Как машина. Как лошадь. Пять страниц до обеда, две страницы перед ужином. Никаких бдений. Никакого трепки. Никаких свиданий. Никаких заседаний. Никаких телефонных звонков. Никаких скандалов и юбилеев. Семь страниц в день, а после ужина можешь посидеть в бильярдной, вяло переговариваясь со знакомыми и полужнакомыми братьями-литераторами. И если ты будешь тверд, если ты не будешь, упаси бог, жалеть себя и восклицать: "Имею же я, черт подери право хоть раз в неделю...", то ты вернешься через двадцать шесть суток домой, как удачливый охотник, без рук и без ног от усталости, но веселый и с набитым ягдташем... А ведь я даже и не придумал еще, что же у меня будет в моем ягдташе...

Ровно в восемь тридцать раздался телефонный звонок, но это не был Леня Шибзд. Непонятно, кто это был. Трубка дышала, трубка внимательно слушала мои раздраженные "Алло, кто говорит? Нажмите кнопку!.." А потом пошли короткие гудки.

Я бросил трубку, с отвращением выдернул из машинки початый лист, всунул его в папку под самый низ и закрыл машинку. Светало, на дворе опять разыгралась пурга, снова ощутил я острую боль в боку и прилег. Все-таки я холерик. Ведь вот только что трясся от возбуждения, и казалось мне, что нет ничего важнее на свете, чем моя синяя папка и ее судьба в веках. А теперь вот лежу, как раздавленная лягушка, и ничего-то вечного мне не надо, кроме покоя.

Бок болел, и небывалая слабость навалилась на меня, и жалость к себе пронзила, и вспомнил я, безвольно сдался воспоминанию, как сдаются обмороку, когда нет больше сил терпеть..

Она жила в квартире номер девятнадцать, занимала там крошечную комнатуху бог знает на каких правах, училась на первом курсе политехнического, и было ей около девятнадцати. И звали ее Катя, а фамилии ее Ф.Сорокин не знал и никогда не узнает. Во всяком случае, в этой жизни.

Ф.Сорокину исполнилось тогда пятнадцать, он перешел в девятый класс и был паренком рослым и красивым, хотя уши у него были изрядно оттопырены. На уроках физкультуры он стоял в шеренге третьим после Володи Правдюка (убит в 1943-м) и Володи Цингера (ныне большой чин в авиационной промышленности). Катя, когда он познакомился с нею, была одного с ним роста, а когда разлучила их разлучительница всех союзов, Катя была уже на полголовы ниже его.

Ф.Сорокин несколько раз встречал ее еще до знакомства - либо на лестнице, либо у Анастасии Андреевны, но ничего мужского и личного она в нем тогда не возбуждала. Он был тогда сопляком и фофаном, этот рослый и красивый парень, Ф.Сорокин. Дистанция между студенткой и школьником представлялась невероятной, тягостное и безрезультатное перешучивание с Люсей Неверовской (ныне адмиральская вдова, пенсионерка и, кажется, уже прабабушка) воздвигало непреодолимую баррикаду между его вожделениями и всеми женскими особями в мире, и вообще предполагалось обязательным

сначала проникнуть во вражеский стан, прикончить или захватить живыми Гитлера и Муссолини (о Тодзе не знал еще тогда Ф.Сорокин) и положить их головы к туфелькам.

Наверное, в психиатрии нашлось бы объяснение тому, что маленькая студентка Катя положила глаз на школьника. Обыкновенно пятнадцатилетние мальчишки привлекают главным образом дам на возраст, а впрочем, что я понимаю в психиатрии? Но осмелится ли кто-нибудь утверждать, что роман Кати и Ф.Сорокина уникален? Ф.Сорокин не осмеливается. (Впрочем, он - лицо предубежденное.) Уже потом, два или три месяца спустя, Катя просто и спокойно рассказала Ф.Сорокину, что влюбилась в него с первого взгляда при первой же случайной встрече то ли на лестнице, то ли в подъезде. Может быть, она говорила неправду, но Ф.Сорокину это было лестно.

Однако, тут, возможно, имеет значение такое обстоятельство. Года за полтора до их знакомства с Катей произошла неприятность. Она училась тогда в десятом классе в одном из небольших городков под Ленинградом (Колпино? Павловск? Тосно?). Однажды она была дежурной и осталась после уроков прибрать класс. Тут вошли несколько ее одноклассников, схватили ее, обмотали голову пиджаками и повалили в проходе между партами. Ничего у них не получилось - может быть, от страха, может быть, по неопытности. Катя осталась девицею. Физически. А как насчет психологии?

Правда, надо сказать, что Ф.Сорокина она полюбила уже женщиной. С кем это произошло у нее в первый раз, она не сказала. А ему вопрос об этом никогда не приходил в голову.

В один жаркий день в начале сентября Ф.Сорокин вернулся из школы и зашел за ключом в квартиру номер девятнадцать к Анастасии Андреевне. Анастасии Андреевне он не застал, а нашел записку, что ключ оставлен у соседки, у Кати. В полутемном коридоре, загроможденным всяким хламом, он нашел Катину дверь и постучал. И дверь в ту же секунду распахнулась. И он увидел ее. И испытал потрясение.

В конце концов, цель оправдывает средства. А в любви, говорят, все средства хороши. Конечно, она его ждала и приготовилась. Да он-то совершенно не был готов. Потом он понял, что еще немного (немного чего?), и он либо бросился бы бежать, сломя голову, либо свалился бы в обмороке.

Я поднялся, кряхтя и постанывая, полез под диван и из самого дальнего темного угла достал окурки, о котором помнил весь этот год. Я пошел с ним на кухню и закурил, стоя у окна, и мельком удивился, что табачный дым не оказывает на меня никакого действия, словно не дым я вдыхаю, а теплый пахучий воздух.

Катя была тощенькая, узкоплечая и узкобедрая, с круглыми торчащими грудями. На ней был мешковатый серый халат приютского типа, она молча взяла Ф.Сорокина за руку и ввела в свою комнатку, потом вернулась к двери и тихо, но плотно затворила ее и щелкнула задвижкой, а потом повернулась к Ф.Сорокину и стала глядеть на него, опустив руки. Халат на ней был распахнут, а под халатом у нее была голая кожа, но Ф.Сорокин увидел сначала, что она красная ото лба до груди, а потом уже все остальное. Ну и зрелище для половозрелого сопляка, который до того видел голых женщин только на репродукциях Рубенса! Впрочем, еще на порнографических карточках, их ему показывал Борька Кутузов (разорван на куски снарядами в августе 1941 года).

Они встречались если и не каждый день, то все же достаточно регулярно. Точно в назначенный день и в условленный час, минута в минуту, Ф.Сорокин бесшумными скачками поднимался к дверям квартиры номер девятнадцать. Обычно это было днем, часа в три или четыре, сразу после возвращения из школы. Конечно, он не звонил и не стучал. Дверь открывалась. Катя в своем приютском халатике на голое тело хватала его за руку, вводила в свою комнатку, и они запирались там, и насыщались друг другом жадно и торопливо, и минут через двадцать Ф.Сорокин, бесшумный и осторожный, как индеец на военной тропе, вышмыгивал в полутемный коридор, привычно нащупывал барабанчик французского замка и оказывался на лестничной площадке. Говорили они немного и только шепотом, и за всю однообразную но невероятно насыщенную историю этой любви им ни разу не пришлось побыть друг с другом более получаса подряд...

А история была действительно невероятно насыщенной - для Ф.Сорокина, несомненно, однако, наверное, и для Кати тоже. Спускаясь по лестнице из квартиры номер девятнадцать, Ф.Сорокин уже начинал тосковать. Через

день-другой тоска сменялась напряженным нетерпением. Наступало назначенное время, и все у него внутри тряслось от лихорадочной радости и от растущего страха, что встреча вдруг не состоится (бывали такие случаи). И вот встреча, а затем снова тоска, нетерпение, радость и страх, и снова встреча. И так неделя за неделей, осень, зима, весна и, наконец, проклятое лето тысяча девятьсот сорок первого. И ни разу Ф.Сорокин не ощутил усталости от Кати, ни разу не захотелось ему перед встречей, чтобы встречи этой не было. По всей видимости, то же самое было и с нею.

Интересно, что именно в это время, в девятом классе, Ф.Сорокин вел успешное наступление на высшую математику и сферическую тригонометрию, на пару с Сашей Ароновым (умер от голода в январе 1942 года). Вовсю мастерил астрономические трубы, вкалывал в мастерских Дома занимательной науки и играючи управлялся со школьной премудростью. И продолжался его платонический роман с Люсей Неверовской, а после встречи Нового года начался вдобавок и флирт с Ниной Халяевой (пропала без вести в эвакуации), и было еще много и много всякой ерунды и чепухи. Ф.Сорокин активно жил в учебе, науке, общественных и личных связях и ни разу, ни при каких обстоятельствах, нигде и никому ни словом, ни намеком не обмолвился о Кате.

Вряд ли их связывала просто половая страсть, хотя бы и самая что ни на есть неистовая: такое не могло бы тянуться столь долго и при этом сопровождаться беспрестанно приступами тоски, радости и страха. Вряд ли это было и любовью романтического толка, о которой писали великие. Было там и от того, и от другого, была там, вероятно, мальчишеская гордость обладания настоящей женщиной, и благодарная нежность девочки к мужчине, который не обижает и не выпендривается, а еще было, наверное, предчувствие.

В последний раз они встречались в конце мая, в начале экзаменов.

В десятых числах июля Ф.Сорокин вернулся со строительства аэродрома под Кингисеппом, возмужалый, уже убивший первого своего человека, врага, фашиста, и очень этим гордый. Окольными путями ему удалось узнать, что неделю назад Катя уехала со своим курсом на сооружение противотанковых рвов куда-то в Гатчину (или в Псков?).

В конце июля в домоуправлении сообщили, что Катя убита при бомбежке.

Слабость. Это все слабость моя. Что-то я сегодня ослабел. Но почему я всегда так упорно запрещаю себе вспоминать это? Имя - да. Катя. Катя. Но только имя. Потому, что я больше никогда не любил. Было у Ф.Сорокина с тех пор множество баб, две или три женщины, и не было ни одной любви.

Телефонный звонок раздался, и я потащился обратно в кабинет. Это звонила Рита наконец, и вовремя.

Она только что вернулась из своей Тьмутаракани и желала пообщаться с интеллигентным человеком из литературного мира. Голос у нее был чистый, веселый и здоровый, и это было прекрасно, и мне захотелось немедленно с нею увидеться. Я спросил, как она сегодня, и она ответила, что сейчас она у себя в конторе, проторчит до обеда, а в обед можно будет ей рвануть когти. Я возликовал, и мы тут же совместно выковали план, как мы встретимся у меня в клубе в пятнадцать ноль-ноль и сольемся там в гастрономическом экстазе. Для начала, сказал я деловито. Там видно будет, ответила она еще более деловито.

Разговор этот, как и следовало ожидать, коренным образом изменил мой взгляд на окружающую действительность. Окружение из враждебного сделалось дружелюбным, а действительность утратила мрачность и обрела все мыслимые оттенки розового и голубого. Вот и на дворе стало значительно светлее, и злая метель обратилась в легкий, чуть ли не праздничный снегопад. И все, что угрюмо обступало меня в последние дни, все эти неприятные и странные встречи, пугающие разговоры и недомолвки, обретшие вдруг плоть и кровь проблемы, совсем недавно еще абстрактные, вся эта темная безнадега, обступившая меня зловещим частоколом, вдруг раздвинулась, отступила куда-то на зад и в стороны, а передо мною все стало изумрудно-зеленое, серебристо-солнечное, туманно-голубое, с лихо мерцающей надписью поперек: "Перебьемся!" и бок мой теперь уже совсем не болел...

Для чего ты все дуешь в трубу, молодой человек?

Полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек!

Прежде всего, я отправился в ванную и там побрился самым тщательным образом. Рита терпеть не может даже намека на щетину. Затем я прошелся влажной тряпкой по всем столам и шкафам. Рита не выносит пыли на

полированных поверхностях. Я переменял постельное белье. Мы с Ритой признаем только свежие, хрустящие, накрахмаленные простыни. Я тщательно перетер бокалы и рюмки, придирчиво изучая стекло на просвет, я начистил "скайдрой" ножи, вилки и чайные ложки, взял себя в руки и вымыл ванну и унитаз. И уже под занавес я выкатил пылесос и пропылесосил пол везде, где он был.

Пока я всем этим занимался, дважды звонил телефон. Один раз это был Леня Шибзд, которому я после его стандартно-приветственного вопроса: "Как дела?" - не дал и рта раскрыть, а второй раз опять молча подышал в трубку тот стеснительный, и я под веселую руку поведал ему, что предложение помощи я ценю, но помощь мне не требуется, ибо все свои дела я уже довел до конца и в ближайшее время уйду с этой планеты и из этого времени навсегда. Не знаю уж, что об этом подумал стеснительный, но звонков телефонных больше не было.

Я облачился в лучший свой костюм и вышел из дома без четверти два - с таким расчетом, чтобы успеть зайти в комиссию и забрать причитающуюся мне порцию чтива. Господи, спаси меня и помилуй! Лифт не работал. То есть совсем не работал, ни большая кабина, ни малая.

И тотчас воображение мое нарисовало мне гомерическую картину, как мы с Ритой после хорошего обеда и хорошей прогулки по заснеженной Москве взбираемся пешечком на шестнадцатый этаж, как сердце у меня в груди бешено и неровно, и я на каждой лестничной площадке присаживаюсь на специально для таких случаев предусмотренные скамеечки, украдкой сую в пасть нитроглицерин, а Рита, красивая женщина, дама сердца, любовница, последняя женщина моя, деликатно болтает о пустяках, униЗИТЕЛЬНО-сочувственно поглядывая на меня сверху вниз, и время от времени приговаривает: "Да не спеши ты, куда нам спешить?..".

Я отогнал позорное видение и пошел спускаться пешком. И кого же я повстречал на площадке между восьмым и седьмым этажом? Кто стремительно поднимался мне навстречу, шагая через две ступеньки разом и лишь слегка придерживаясь левой рукой за перила? Кто он, румяный, насвистывающий Гершвина, держащий в правой руке тяжелую сумку с продуктами, с продуктовым заказом, судя по некоторым признакам?

Ну, разумеется, он! Костя Кудинов, поэт, тот самый до зелени бледный и облеваный бедолага, которого так недавно при последнем издыхании увезли промывать в Бирюлевскую больницу!

- Старик! - заорал он жизнерадостно едва опознав меня. - Хорошо, что мы встретились! Ты не спешишь? Имей в виду, я включил тебя в нашу бригаду. Поедем на БАМ. Двадцать дней, пятнадцать выступлений, спецрейс самолетом туда и обратно... Как это тебе, а?

Поистине, сегодня был удачный день. Это может показаться странным, но я, пожилой, замкнутый, в общем-то избегающий новых знакомств человек, консерватор и сидун, - я люблю публичные выступления.

Мне нравится стоять перед набитым залом, видеть разом тысячу физиономий, объединенных выражением интереса, интереса, интереса жадного, интереса изумленного, интереса скептического, интереса насмешливого, но всегда интереса. Мне нравится шокировать их нашими цеховыми тайнами, раскрывать им секреты редакционно-издательской кухни, безжалостно разрушать иллюзии таких засаленных стереотипов, как вдохновение, озарение, божьи искры.

Мне нравится отвечать на записки, высмеивать дураков - тонко, чтобы никакая гишу, буде она окажется в зале, не могла бы придраться; нравится ходить по лезвию бритвы, лавируя между тем, что я на самом деле думаю, и тем, что мне думать, по общему мнению, полагается...

А потом, когда выступление уже позади, нравится мне стоять внизу, в зале, в окружении истинных поклонников и ценителей, надписывать зачитанные до дряхлости книжки "Современных сказок" и вести разговор уже на равных, без дураков, крепко, до ожесточения спорить, все время испытывая восхитительное чувство защищенности от грубого выпада и от бестактной резкости, когда не страшно совершить ложный шаг, когда даже явная глупость, произнесенная тобой, великодушно пропускается мимо ушей...

Но особенно я люблю все это не в Москве и не в других столицах, административных, научных и промышленных, а в местах отдаленных, где-нибудь на границе цивилизации, где все эти инженеры, техники, операторы, все эти вчерашние студенты изголодались по культуре, по Европе,

просто по интеллигентному разговору.

И я, конечно, дал Косте согласие, выяснил у него, когда отлет, кто еще включен в бригаду и где нас будут инструктировать, и уже протянул ему руку для прощания, но он вдруг взял меня за большой палец щепотью, хитро прищурился и как-то кокетливо пропел:

- А ты у нас рискованный мужик, Феликс Александрович! Ловко это у тебя получилось! Но не думаешь ли ты, что тебе это припомнят, а? Во благовремении, а?

Он кокетливо щурился и покачивал в воздухе мою обмякшую руку, а я ощутил, что все внутри у меня съеживается от дурного предчувствия. Наверное, дело было прежде всего в том, что произнес эти слова именно Костя. Не знаю. Но я сразу подумал, что не кончилась еще глупейшая история с этим... как он там... с мафусаллином этим чертовым. Ничего не кончилось, что с того, что я начисто забыл про соглашения в клетчатом пальто-перевертыше, они-то про меня не забыли, дело продолжается, и вот, оказывается, я уже какой-то ловкий ход сделал, обманул, видимо, кого-то, рискнул, дурень, и теперь мне это могут припомнить! И конечно же припомнят, обязательно припомнят!..

Иезус, Мария и Иосиф! Провалиться бы этому Косте Кудинову, откуда нет возврата! С его таинственными манерами, намеками и полунамеками! Уже через минуту подмигиваний, прищуриваний и раскачивания моей руки выяснилось, что речь идет совсем о другом.

В начале декабря знакомый мой редактор из "Богатырского дозора" дал мне отрецензировать рукопись Бабахина, председателя жилкомиссии нашей. Дал он мне эту рукопись и сказал так: "Врежь ты ему по соплям и ничего не бойсь, рецензия внутренняя, а главный наш от этого Бабахина уже в прединфаркте". Повесть, действительно, была чудовищная, и я врезал. По соплям. С наслаждением. А под самый Новый год Бабахина с громом и лязгом из председателей поперли. Не за то, конечно, что пишет он повести, способные довести до инфаркта даже такого закаленного человека, как главный "Богатырского дозора". Нет, поперли его за то, что он "ел хлеб беззакония и пил вино хищения" и вот теперь этот идиот, поэт Костя Кудинов, вообразил себе, будто я все это предвидел заранее и рискнул выступить против Бабахина аж в начале декабря, когда все еще могло повернуться и так, и этак...

И более того. Этот идиот Костя Кудинов считал мою рецензию поступком безрассудным, хоть и героическим, ибо полагал - не без оснований, впрочем, - что Бабахины не умирают, что они всегда возвращаются и никогда ничего не забывают.

Кому в наше время приятно попасть под подозрение в безрассудном геройстве? Но я только снисходительно похлопал Костю по плечу и дал ему понять, что все это комариная плешь и что при моих связях никакие Бабахины мне не страшны.

На лице его при этом явственно проступило размышление на тему: а нельзя ли (по возможности, немедленно) извлечь что-нибудь для себя полезное из знакомства с такой значительной и благорасположенной к нему персоной, - и это каким-то не совсем понятным образом подвигло вдруг меня на прямой вопрос:

- Послушай-ка, - сказал я, - а чего это ты угрожал мне давеча, в больнице? Что там у тебя, собственно, произошло?

Признаюсь, я не люблю прямых вопросов. Ни ставить, ни слышать. На прямые вопросы обычно следуют до отвращения уклончивые ответы, и всех вокруг начинает тошнить. Да и прямые ответы, как правило, тоже не сахар. Однако же тайна страшного Ивана Давыдовича и Костиного змеино-шипения ("О себе подумай, Сорокин!.."), раньше только раздражавшая меня наподобие некоей душевной заусеницы, сейчас вдруг потребовала немедленного и полного разъяснения. Что же, в самом деле, мне теперь - каждый раз трепетать, с Кудиновым встречаясь?

- Что же прикажешь, - сказал я раздражаясь, - каждый раз, понимаешь, трепетать, с тобой встречаясь? Нет уж, изволь объясниться!

И точно так же, как тогда в больнице, Костя заметался взглядом, явно не зная, куда его приткнуть в безопасное место, и снова принялся он лепетать, бормотать, экать и мекать, однако ж на этот раз выглядел он не столько испуганным, сколько смущенным, будто поймали его за тайным разглядыванием специфического заграничного журнальчика. И хотя был он

достаточно невнятен, все же я уловил в его бормотании и меканье некую вполне связную и вполне грязноватую историю - про какие-то редкие медикаменты... Без рецептов, сам понимаешь... Тесть двоюродного брата... Ну, ты же понимаешь, старик?... Все же родня, неудобно... Ни-ни-ни, никакой уголовщины, что ты, но ты же его напугал до этого, как его... Я сам виноват, но и ты пойми меня правильно... Знаешь, как это бывает... Кому охота объясняться... И так далее.

Я слушал его, испытывая одновременно и некую безразличность и явное облегчение (всего-то навсего - гос-споди!), но ведь и разочарование тоже: всего-то навсего, а я-то!.. И когда ситуация, как мне показалось, прояснилась полностью, я прервал его излияния, не стараясь скрыть ни безразличности своей, ни облегчения, ни разочарования:

- И это все?

- Старик! - вскричал он, вовсе не разобравшись в моих интонациях. - Дедуля! Клянусь честью! А ты-то что подумал, а? Признайся: ведь черт-те что подумал, а?

Не стал я ему ни в чем признаваться, повернулся к нему спиной и пошел себе вниз по лестнице. А подумал я (уж который раз), что жизнь наша, что бы ни говорили нам об этом энтузиасты, по сути своей вполне обыкновенна и незагадочна (и слава богу, если серьезно), и что нет, видимо, ничего такого в мире, друг Горацио, о чем так сладко болтается вечером нашим кухонным мудрецам, и что прав, надо полагать, мой герой, когда брюзжит: "Нет никакого Бермудского треугольника! Есть треугольник А-Бэ-Цэ, который равен треугольнику А-штрих-Бэ-штрих-Цэ-штрих..." и даже не "равен", а "конгруэнтен" - так теперь надобно говорить.

Всего-то навсего обделывал свои тихие делишки тесть шурина свекра сестры, а я-то намудрил, а я-то насочинял в воображении своем... Собственно, ничего я еще пока не насочинял, но был близок, тут уж куда не денешься - близок я был. И уже мерещилось мне, что мафусаллин этот дефицитный - есть не что иное, как мой эликсир жизни, живая моя вода из каменной пещеры. И мерещились мне уже мои "бессмертные". И совсем уже было вообразил я, что начал пресуществляться мой старый сюжет, и возникали вокруг из небытия придуманные мной персонажи. И вот все кончилось - вялым анекдотом. В который раз.

Позвольте, подумал я. А клетчатое пальто что же? Тайный соглядатай мой, агент ноль-ноль-семь, клетчатая моя тень в металлических очках? Неужели же я просто подстегнул его к своим переживаниям (как все мы делаем это с приметами, озарениями и тайными голосами), позабывши, какая чертова уйма в Москве клетчатых пальто и металлических оправ?..

И ведь не обошлось без клетчатого пальто! Напомнило-таки оно о себе еще раз, хотя и вовсе неожиданным образом.

Выйдя из метро на Кропоткинской, я увидел рядом с табачным киоском это величайшее достижение двадцатого века - красно-желтый фургон спецмедслужбы. Задние дверцы его были распахнуты настежь, и двое милиционеров ввергали в ее недра клетчатое пальто-перевертыш. Ввергаемое пальто отбрыкивалось задними ногами, а может быть и не отбрыкивалось, а тщилося отыскать под собой опору. Лица я не видел. Я вообще больше ничего не видел, если не считать очков. Металлическая оправа от очков, - ее деловито пронес мимо меня, держа двумя пальцами, третий милиционер, тут же скрывшийся за фургоном. Затем дверцы захлопнулись, машина выпустила из себя кубометр гнусного запаха и медленно укатила. Вот и все приключение, и спросить не у кого, что здесь произошло, потому что миновали времена, когда такого рода инциденты собирали зрителей. И я пошел своей дорогой.

И пока шел я этой своей дорогой - по бульвару, а затем по Посольской улице, - вдруг ни с того ни с сего, перед мысленным взором моим принялись выскакивать из каких-то недр и суматошно закружились люди, реплики, эпизоды, да так ловко, так сноровисто, словно все это время я только о них и думал.

Маленький, но вполне самостоятельный и совершенно достоверный мир принялся строиться во мне - провинциальный южный городок на берегу моря, ранняя осень, дожди уже начинаются, и листья желтеют, и третьеразрядный писатель, этаким периферийный Феликс Сорокин, но помоложе, пожалуй, лет этак Сорока... и не Сорокин, конечно, а, скажем, Воробьев... выходит он утром из своей квартиры по делам... Посуду, например, сдать, здоровенная у него в руке авоська с бутылками из-под "бжни"... А сдавши посуду, пойдет

он потом выступать перед читателями... Перед пенсионерами в дом культуры... Но не тут-то было, гражданин Воробьев! Из соседней квартиры выносят ему навстречу санитары соседа его, Костю, например, Курдюкова, поэтишку-сорохвата, при последнем издыхании... Дальше - по жизни, ничего придумывать не надо. Мафусаллин; институт, вурдалак Иван Давыдович, клетчатое пальто в трамвае. Весь день моего Воробьева преследуют странные происшествия. То, скажем, самосвал, мирно стоявший на пригорке по-над очередь в пункт приема стеклотары, срывается вдруг с тормозов и катит прямо на моего Воробьева, да так, что тот едва успевает отскочить. То вдруг огромный булыжник, неведь откуда свалившийся, врезается у самых ног Воробьева, присевшего завязать шнурок на ботинке. (Пусть он у меня целый день шляется по городу с этой своей авоськой осточертевшей.) То вдруг из рядов пенсионеров в доме культуры воздвигается клетчатое пальто и задает вопрос... Какой же это будет вопрос? А, черт, ладно, потом придумаю.

А ночью они все к нему и заявятся. Их у меня, как и намечалось, будет пятеро, паршивых и гадких. Пятеро древних гишу. Пятеро гнойных прыщей, каждый в своем роде.

Во-первых, мой добрый знакомый - вурдалак Иван Давыдович. Он у нас на самом деле древний алхимик, еще императору Рудольфу золото добывал из свинаячей желчи, а в наши дни - бессменный председатель месткома у себя в институте.

Женщину бы туда нужно, вот что... Ледяную красотку, для которой мужики - что пауки для паучихи: попользовалась и за щеку... Самка гишу. Маркитантка из рейтарского обоза... Таскалась за солдатней еще во время гугенотских войн...

Тут надо бы подумать, чтобы не было противоречий. Бессмертные-то они бессмертные, конечно, но только в том смысле, что своей смертью не умирают. А убить их вполне можно. И пулей, и ножом, и ядом, и как угодно. Тогда все выстраивается. Костя Курдюков, обожравшись тухлыми консервами, со страху решил, что помирает, и послал моего Воробьева к вурдалаку, чтобы тот дал две-три капли эликсира. (А вурдалак, сами понимаете, пользуясь государственным оборудованием, все пытается синтезировать эликсир, и две-три капли у него всегда есть - для химических целей.) Принимаем, значит, что эликсир может действовать и как лекарство тоже. Иван же Давыдович, вурдалак мой дорогой, будучи существом в высшей степени подозрительным и недоверчивым, решает, что произошла утечка информации, и направляет по следам Воробьева верного человека в клетчатом пальто. Чтобы, во-первых, проследить, а во-вторых, припугнуть. А уж ночью они ввалятся к Воробьеву в дом всей компанией. Не жалкие свифтовские струльдбруги, маразматики полудохлые, а жуткие древние гишу - без чести, без совести, без жалости, энергичные, свирепые, готовые на все. Тут-то, ночью, все и начинается...

Самое лакомое, конечно, - это ночное толковище. Пиршество бессмертных. Это у меня может получиться. Это у меня должно получиться! Черт подери, это у меня получится! Не-ет, государи мои, у хорошего хозяина даром ничего не пропадет, все в дело идет. И клетчатые пальто загадочные, и свирепые председатели месткомов, и даже давно забытые наметки в рабочем дневнике десятилетней давности...

Чрезвычайно довольный собой и своими перспективами, я вступил в клуб, как и предполагал, в три без четверти.

У входа дежурила на этот раз не подслеповатая Марья Тимофеевна, а молодая еще пенсионерка, которая и работает-то у нас без году неделя, а уже всех знает, во всяком случае меня. Мы раскланялись, я предупредил ее, что жду даму, разделся и побрел наверх в приемную комиссию. Зинаида Филипповна, черноглазая и белолицая, как всегда очень занятая и очень озабоченная, указала мне на шкаф, где на трех полках отдельными кучами лежали сочинения претендентов. Подумать только, всего-то их восемь, а уже напечатали такую уйму!

- Я вам отобрала, Феликс Александрович, - произнесла Зинаида Филипповна, рассеянно мне улыбаясь. - Вы ведь военно-патриотическую тему предпочитаете? Вон крайняя стопка, Халабуев некто. Я вам уже записала. Жалок и тосклив был вид стопки, воплотившей в себя дух и мысль неведомого мне Халабуева. Три тощеньких номера "Прапорщика" с аккуратненькими хвостиками бумажных закладок и одинокая, тощенькая же книжечка Северно-Сибирского издательства, повесть под названием "Стережем небо!".

И кто же это тебя, Халабуев, рекомендовал, подумал я. Кто же это, опрометчивый, отдал тебя нам на съедение с твоими тремя рассказиками и одной повестушечкой? Да и не повестушечка это даже, а так, слегка беллетризованный очерк из жизни ракетчиков или летчиков. Да ты же, Халабуев, на один зуб будешь нашим лейб-гвардейцам, если, конечно, не заручился уже их благорасположением. Но даже если ты и заручился, Халабуев, на ползуба тебя не хватит нашим специалистам по истории куртуазной литературы Франции восемнадцатого века! Но уж если, Халабуев, исхитрился ты и у них благорасположение снискать, тогда честь тебе, Халабуев, и хвала, тогда далеко ты у нас пойдешь, и очень может быть, что через пяток лет будем мы все толпиться у твоего порога, выклянчивая право на аренду дачи в Подмоскowie...

Со вздохом взял я Халабуева под мышку и, вежливо попрощавшись с Зинаидой Филипповной, направился прямо в ресторан.

И случилось так, что хотя народу в ресторане по дневному времени было не очень много, но удобный столик свободный оказался только один, и когда я уселся, то за столиком справа от меня оказался Витя Кошельков, знаменитый наш юморист и автор множества скетчей, при галстукe бабочкой и при газете "Морнинг стар", которую он читал с неприступным видом над чашечкой кофе.

А за столиком слева щебетали, непрерывно жуя, две неопределенного возраста дамы, вполне, впрочем, на вид аппетитные.

А за столиком прямо передо мной Аполлон Аполлонович Владимирский угощал какую-то из своих многочисленных внучатых (а может, даже и правнучатых) родственниц обедом с шампанским. Он заметил меня, и мы раскланялись.

Он был все такой же, каким я впервые увидел его почти четверть века назад. Маленькая, совершенно лысая, как воздушный шарик, голова на длинной складчатой шее игуаны, огромные черные глаза - сплошной зрачок без радужки, распушенный рот и беспорядочно клацающие искусственные челюсти, как бы живущие самостоятельной жизнью, и плавные движения дирижера, и резкий высокий голос человека, равнодушного к мнению окружающих. И старомодный, начала века, наверное, костюмчик с коротковатыми рукавами, из-под которых выползали ослепительные манжеты. Мне он казался пришельцем из невообразимо далекого, хрестоматийного прошлого; невозможно было представить себе, что энергичные, задорные, бодрящие песни, которые певали, да и сейчас еще поют на демонстрациях и студенческих вечеринках со времен коллективизации, написаны на стихи этого реликта...

Я сидел, одним глазом поглядывая в раскрытого на середине Халабуева, а другим - на дверь в холл, откуда пора было уже появиться Рите, а Аполлон Аполлонович, покровительственно наблюдая, как молоденькая родственница управляется с бифштексом, и поминутно элегантно щелчками загоняя в рукав непослушную манжету, исполнял под аккомпанемент беспорядочно клацающих челюстей очередной свой устный мемуар.

Этих мемуаров за истекшие десятилетия я наслушался предостаточно, и поэтому сейчас лишь узловые моменты рассеяно отмечало мое привычное ухо. Вот Владимир Владимыч и странные его отношения с Осей. Вот Борис Леонидыч промелькнул, сказал что-то забавное и сменился тут же Александром Александровичем, совсем уже больным, за день за кончины. А вот и Алексей Николаевич, и, конечно же: "Их сиятельство уехали на прием..." Самуил Яковлевич... Корней Иванович... Веня появился у Алексея Максимовича, совсем молодой и очень заносчивый... А Исаак Эммануилович вступил на последнюю свою короткую дорогу. "А как придет время уколы делать, так представь себе, душа моя, все писатели врасыпную, и в лес, а сестры со шприцами наготове - за ними, и только Миша грустно так стоит у больничного окна и говорит бывало: "Побежали в лес по ягодицы...". Константин Сергеевич... "Ох, заберут вас когда-нибудь в ГУМ, Владимир Иванович..." Александр Сергеевич... (тут я вздрогнул). Виссарион Григорьевич с сыном своим Иосифом...

Я посмотрел на Аполлона Аполлоновича. Он был неиссякаем. Родственница, впрочем, оставалась к этому уникальному потоку информации вполне равнодушной. Я не исключал, конечно, что она, как и я, слышала все это далеко не впервые. И тут Аполлон Аполлонович сказал весело:

- А вот и Михаил Афанасьевич собственной персоной. Комман са ва, Мишель?

Я взглянул.

В одну зимнюю ночь сорок первого года, когда я во время воздушной тревоги возвращался домой из гранатных мастерских, бомба попала в деревянный дом у меня за спиной. Меня подняло в воздух, плавно перенесло через железные пики садовой ограды и аккуратно положило на обе лопатки в глубокий сугроб, и я лежал лицом к черному небу и с тупым изумлением глядел, как медленно и важно, подобно кораблям, проплывают надо мной горящие бревна.

И вот с таким же тупым изумлением глядел я теперь, как со стороны холла наискосок через ресторан идет Михаил Афанасьевич, мой невеселый вчерашний знакомец, только без синего лабораторного халата, а в остальном в точности такой же, и даже в том же синем костюме. Я видел, как шевельнулись его губы, он что-то ответил Аполлону Аполлоновичу, а меня не заметил или не узнал и прошел мимо, к выходу в вестибюль старой княгини. И когда он скрылся за дверью, в мертвой тишине, какая бывает после страшного взрыва, скрипучий голос Аполлона Аполлоновича произнес то ли торжественно, то ли доверительно:

В библиотеку пошел. Или в канцелярию.

А я ведь, оказывается, уже стоял, готовый бежать за ним следом. Были у меня к нему вопросы? Да, были, конечно. Хотел ли я спросить у него совета? Безусловно. Разумеется. Все то, о чем догадался я сегодняшним горьким утром, поднялось вдруг во мне снова, как ядовитое варево в ведьмином горшке. И необходимо стало мне узнать, правильно ли я его давеча понял, и если правильно, то что мне теперь с этим пониманием делать. Уже только ради этого стоило бежать за ним, но не это было главное.

Я осознал вдруг, кто он мой невеселый знакомец с Банной, какой он такой Михаил Афанасьевич. Теперь это казалось мне столь же очевидным, сколь и невероятным. Эта встреча была достойным завершением моей бездарно-фантазмагорической недели, на протяжении которой тот, кому надлежит вести мою судьбой, распустил передо мной целый веер возможностей, ни одну из которых я не сумел или не захотел осуществить, и все это прошло, как вода сквозь песок, не оставив ничего, кроме грязноватой пенки филистерского облегчения, да еще вот разве что сюжетик простодушный образовался... И теперь вот - последняя возможность. Самая, может быть, невероятная. И пусть она ничего не обещает мне поверх моего привычного бутерброда с маслом, но если я и ее сейчас упущу, пожертвую ее ради солянки с маслинами или даже ради душистой моей Риты, тогда ничего у меня не останется, и незачем мне будет раскрывать мою синюю папку.

Как во сне, я услышал брюзгливое барственное блеяние:

- Или я великий русский писатель, или я буду есть эту лапшу..

И как во сне, повернувши голову, увидел я над дымящейся тарелкой полное длинное лицо с брюзгливо отвисшей губой, сейчас же скрывшееся от меня за согбенной спиной официанта.

И тут, уже совершенно наяву, увидел я в дверях холла остановившуюся Риту в любимом моем, песочного цвета, костюме, и глаз уколол мне блеск сережки в ее ухе, когда она медленно поворачивала голову, отыскивая меня в зале, но я трусливо спрятал глаза и, слегка согнувшись, торопливо побежал по ковровой дорожке прочь, туда, к той двери, за которой скрылся Михаил Афанасьевич. Горестно промелькнула в голове моей мысль, что вот опять я совершаю поступок, за который придется извиняться и оправдываться, но я отогнал эту мысль, потому что все это будет потом, а сейчас мне предстояло нечто несоизмеримо более важное.

В канцелярии Михаила Афанасьевича не оказалось. Таточка здесь грохотала на своей машинке, а рядом с нею, развалившись в кресле и освободив от пиджака округлое литое брюшко, восседал красноносый и красногубый, вообще румяный сатир и с выражением, будто на трибуне стоя, диктовал ей по бумажке:

- ...и с абстракционизмом в литературе мы должны бороться и будем бороться так же непримиримо, как с абстракционизмом в живописи, в скульптуре, в архитектуре...

- И в животноводстве! - проорал я, чтобы остановить его.

Он остановился, явно ослепленный новым поворотом темы, а я быстро спросил Таточку:

- Михаил Афанасьевич сейчас не заходил?

- Нет, - отозвалась она, не переставая грохотать. - Его сегодня не

будет. - И требовательно обратилась к сатиру: - "...в архитектуре и в животноводстве...". Дальше!

Я нашел Михаила Афанасьевича в журнальном зале, где он сидел в полном одиночестве и внимательно читал последний номер "Ежеквартального надзирателя". Тот самый. С повестью Вали Демченко, искромсанной, изрезанной, трижды ампутированной, но все-таки живой, непобедимо, вызывающе живой.

Я приблизился и остановился, не зная, что сказать и как начать. Ощущение нелепости происходящего вдруг овладело мною, я смешался, я готов был уже уйти, но тут он опустил журнал, взглянул на меня вопросительно и сразу же улыбнулся:

- А! Феликс Александрович, - произнес он своим тихим ровным голосом.

- Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста, вот как раз свободный стул.

- Это из Чапека? - спросил я, послушно усаживаясь.

- Нет, это из Гашека. Так чем я могу служить вам, Феликс Александрович?

- Я вижу, вы очень хорошо знаете литературу...

- Более того. Литературу я очень люблю. Хорошую литературу.

- А когда у вас возникает сомнение, хорошая ли она, вы суете ее в свою машину?

- Помилуйте, Феликс Александрович! Мне это даже как-то и не к лицу.

Впрочем, я сам виноват. Я оговорился, прошу прощения. Конечно же, литература не бывает плохой или хорошей. Литература бывает только хорошей, а все прочее следовало бы называть макулатурой.

- Вот-вот! - подхватил я, продолжая напирать в каком-то горестном отчаянии. - "Свежесть бывает только одна - первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!"

Он закрыл журнал, заложивши его однако пальцем, и некоторое время молча смотрел на меня. А я смотрел на него и поражался схожести с портретом в коричневом томике, и поражался, что за три месяца никто из наших пустобрехов не узнал его, и сам я умудрился не узнать его с первого взгляда там, на Банной.

- Феликс Александрович, - сказал он наконец. - Я вижу, вы принимаете меня за кого-то другого. Я даже догадываюсь, за кого...

- Позвольте, позвольте! - вскричал я горячо, потому что эта его попытка уклониться разочаровала и даже оскорбила меня. - Ведь не станете же вы отрицать...

- Именно стану! - произнес он, наклоняясь ко мне. - Меня действительно зовут Михаил Александрович, и говорят, что я действительно похож, но посудите сами: как я могу быть им? Мертвые умирают навсегда, Феликс Александрович. Это так же верно, как и то, что рукописи сгорают дотла. Сколько бы он ни утверждал обратное.

Я почувствовал, что пот заливает мне лицо. Я торопливо вытащил платок и утерся. Голова у меня шла кругом, в ушах звенело, видимо, давление подскочило неумеренно, и я опять чувствовал себя, как во сне.

- Однако давайте, наконец, приступим к вашему делу, - продолжал он и вынул палец из журнала, а журнал положил на диван рядом с собой. - Вы, как и следовало ожидать, совершенно правильно догадались, что машина моя определяет не абсолютную художественную ценность произведения, а всего лишь судьбу его в истерически обозримом времени.

Я кивнул, снова и снова протирая заливаемые потом глаза.

- Догадавшись, вы оказались перед вопросом: стоит ли рискнуть и передать мне на анализ вашу синюю папку.

Я снова кивнул.

- Давайте теперь попробуем разобраться, чего же вы, Феликс Александрович, боитесь и на что надеетесь. Вы, конечно, боитесь, что машина моя наградит вас за все ваши труды какой-нибудь жалкой цифрой, словно не труд всей вашей жизни вы ей предложили, а какую-нибудь макулатурную рецензию, писанную с отвращением и исключительно чтобы отделаться... А то и ради денег. А надеетесь вы, Феликс Александрович, что случится чудо, что вознаградит вас моя машина шестизначным, а то и семизначным числом, словно вы и впрямь заявляете миру некий новый Апокалипсис, который сам собой прорвется к читателю сквозь все и всяческие препоны... Однако же вы прекрасно знаете, Феликс Александрович, что чудеса в нашем мире случаются только поганые, так что надеяться вам в сущности не

на что. Что же до ваших опасений, то не сами ли вы сознательно обрекли свою папку на погребение в недрах письменного своего стола - изначально обрекли, Феликс Александрович, похоронили, еще не родив, а только едва зачав? Вы следите за ходом моих рассуждений?

Я кивнул.

- Вы понимаете, что я только облек в словесную форму ваши собственные мысли?

Я снова кивнул и сказал сиплым голосом, мимолетно поразившим меня самого:

- Вы упустили еще третью возможность...

- Нет, Феликс Александрович! Не упустил! О вашей детской угрозе огнем я догадываюсь. Так вот, чтобы наказать вас за нее, я расскажу вам сейчас о четвертой возможности, такой стыдной и недостойной, что вы даже не осмеливаетесь пустить ее в свое сознание, ужас перед нею сидит у вас где-то там, на задворках, ужас сморщенный, голенький, вонючий... Рассказать?

Предчувствие этого сидящего на задворках сморщенного ужаса резануло меня, как сердечный спазм, и я даже задохнулся, но я уверен был, что ничего он не может сказать такого, о чем я сам уже не передумал, чем не перемучился тридцать три раза. Я стиснул зубы и процедил сквозь платок, прижатый ко рту:

- Любопытно было бы узнать...

И он рассказал.

Честью своей клянусь, жизнью дочери моей Катьки, жизнью внуков: не знал я заранее и представить себе не мог, что он мне расскажет обо мне самом. И это было особенно унижительно и срамно, потому что четвертая моя возможность была такой очевидной, такой пошлой, такой лежащей на поверхности... Любой нормальный человек назвал бы ее первой... Для Ойла Союзного она вообще единственная, и других он не ведает... Только такие, как я, занесшиеся без всякой видимой причины, надутые спесью до того, что уже и надутости этой не ощущают, невесты что вообразившие о себе, о писанине своей и о мире, который собою осчастливливают, только такие, как я, способны упрятать эту возможность от себя так глубоко, что сами о ней не подозревают...

Ну как, в самом деле, я, Феликс Александрович Сорокин, создатель незабвенного романа "Товарищи офицеры!", как я мог представить себе, что проклятая машина на Банной может выбросить на свои экраны не семизначное признание моих, Сорокина, заслуг перед мировой культурой, и не гордую одинокую троечку, свидетельствующую о том, что мировая культура еще не созрела, чтобы принять в свое лоно содержимое синей папки, а может выбросить машина на свои экраны крепенькие и кругленькие "30 тыс.экз.", означающие, что синюю папочку благополучно приняли, благополучно вставили в план, и выскочила она из печатных машин, чтобы осесть на полках районных библиотек рядом с прочей макулатурой, не оставив по себе ни следов, ни памяти, похороненная не в почетном саркофаге письменного стола, а в покоробленных обложках из уцененного картона.

- ...простите меня, - закончил он с сочувствием в голосе. - Но я не мог оставить в стороне эту возможность, даже если бы не хотел слегка наказать вас.

Я молча кивнул в который раз. Воистину: демон неба сломал мне рога гордыни.

- Что же касается вашей угрозы сжечь синюю папку и забыть о ней, - продолжал Михаил Афанасьевич, - то я, признаться, назвал ее, угрозу, детской лишь в некоторой запальчивости. На самом деле, угроза эта мне кажется серьезной и весьма серьезной. Но, Феликс Александрович! Вся многотысячелетняя история литературы не знает случая, когда автор сжег бы своими руками свое любимое детище. Да, жгли. Но жгли лишь то, что вызывало отвращение и раздражение, и стыд у них самих... А ведь вы, Феликс Александрович, свою синюю папку любите, вы живете в ней, вы живете для нее... Ну как вы позволите себе сжечь такое только потому, что не знаете его будущего?

Он был прав, конечно. Все это была кислая болтовня - насчет сжигания, забвения... Да и как бы я ее стал жечь - при паровом-то отоплении. Я нервно хихикнул: может быть, потому и печатается у нас столько барахла, что исчезли по городам печки?

Михаил Афанасьевич тоже засмеялся, но тут же стал серьезным.

- Поймите меня правильно, Феликс Александрович, - сказал он.

- Вот вы пришли ко мне за советом и сочувствием. Ко мне, к единственному, как вам кажется, человеку, который может дать вам совет и выразить искреннее сочувствие. И того вы не хотите понять, Феликс Александрович, что ничего этого не будет и не может быть, ни совета от меня, ни сочувствия. Не хотите вы понять, что вижу я сейчас перед собой потного и нездорово раскрасневшегося человека с вялым ртом и с коронарами, сжавшимися до опасного предела, человека, прожившего и потрепанного, не слишком умного и совсем не мудрого, отягченного стыдными воспоминаниями и тщательно подавляемым страхом физического исчезновения. Ни сочувствия этот человек не вызывает, ни желания давать ему советы. Да и с какой стати? Поймите, Феликс Александрович, нет мне никакого дела ни до ваших внутренних борений, ни до вашего душевного смятения, ни до вашего, простите меня, самолюбования. Единственное, что меня интересует, это ваша синяя папка, чтобы роман ваш был написан и закончен. А как вы это сделаете, какой ценой, - я не литературовед и не биограф ваш, это, право же, мне не интересно. Разумеется, людям свойственно ожидать награды за труды свои и за муки, и в общем-то это справедливо, но есть исключения: не бывает и не может быть награды за муку творческую. Мука эта сама заключает в себе награду. Поэтому, Феликс Александрович, не ждите вы для себя ни света, ни покоя. Никогда не будет вам ни покоя, ни света.

И наступила тишина. Словно бы я оглох. И в этой глухой тишине беззвучно вошла библиотекарьша в сопровождении двух каких-то старух, и они, беззвучно переговариваясь, подошли к шкафу, беззвучно раскрыли его и принялись беззвучно выкладывать на стол и листать какие-то пропыленные подшивки. И вот что странно: они словно бы не видели нас, ни разу не взглянули в нашу сторону, словно бы нас здесь не было.

И в этой тишине вдруг зазвучал глуховатый приятный голос Михаила Афанасьевича. Он не говорил и не рассказывал, а именно читал вслух из невидимой книги.

- Ну вот, Андрей, - произнес с некоторой торжественностью голос наставника. - Первый круг вами пройден.

Лампа под зеленым фарфоровым абажуром была включена, и на столе в круге света лежала свежая газета с большой передовой под названием "Пятую пятилетку - досрочно!". Гудел и бормотал приемник на этажерке за спиной. Мама на кухне побрякивала посудой и разговаривала с соседкой. Пахло жареной рыбой. Во дворе-колодце под окном вопили и галдели ребятишки, шла игра в прятки. Из раскрытой форточки тянуло влажным теплым воздухом. Еще минуту назад все это было совсем не таким, как сейчас - гораздо более обыденным и привычным. Оно было без будущего. Вернее, отдельно от будущего...

Андрей бесцельно разгладил газету и сказал:

- Первый? А почему - первый?

- Потому что их еще много впереди, - произнес голос наставника.

Тогда Андрей, стараясь не смотреть в ту сторону, откуда доносился голос, поднялся и прислонился плечом к шкафу у окна. Черный колодец двора, слабо освещенный желтыми прямоугольниками окон, был под ним и над ним, а далеко наверху, в совсем уже потемневшем небе горела Вега. Совершенно невозможно было покинуть все это снова, и совершенно - еще более! - невозможно было остаться среди всего этого. Теперь. После всего.

- Изя! Изя! - пронзительно прокричал женский голос в колодце.

- Изя! Иди уже ужинать! Дети, вы не видели Изю?

И детские голоса внизу закричали:

- Иська! Кацман! Иди, тебя matka зовет!

Андрей, весь напрягшись, сунулся лицом к самому стеклу, всматриваясь в темноту. Но он увидел только неразборчивые тени, шныряющие по мокрому черному дну колодца между громоздящимися поленицами дров...

Михаил Афанасьевич замолчал, откинулся на спинку дивана и закрыл глаза. И вдруг я понял, откуда это он читал и почему мне это кажется таким знакомым. И еще я понял, что между последними написанными мною словами "Питер Блок облизнулся" и словами наставника "Ну вот, Андрей, первый круг вами пройден" лежат привычные пустыри ненаписанных строк, - сто, двести, а может быть, и триста ненаписанных еще страниц, но уж после того, как Андрей увидел только неразборчивые тени, шныряющие между поленицами дров,

после этой строчки не будет ничего, кроме слова конец и, может быть, даты.

Весь ресторан клуба видел, как известный писатель военно-патриотической темы Феликс Сорокин, рослый, несколько грузный, сереброголовый красавец с пышными черными усами, блестя лауреатским значком на лацкане пиджака, свободно пройдя меж столиками, подошел к красивой женщине в элегантном костюме песочного цвета и поцеловал ей руку. И весь ресторан услышал, как он, повернувшись к официанту Мише, произнес отчетливо:

- Мяса! Любого! Но только не псины. Хватит с меня псины, Миша!

Половина зала пропустила эти странные слова мимо ушей, другая половина сочла их за неудачную шутку, а Аполлон Аполлонович, покачивая черепашьей головкой, пробормотал: "Странно... Когда это он успел?..".

А Феликс Сорокин и не думал шутить. И тем более надираться он отнюдь не собирался. Просто он был возмутительно, непристойно и неумело счастлив сейчас, и сам толком не знал, почему, собственно.